

БОРИС ПАСТЕРНАК

СТИХИ И ПОЗМЫ 1912-1932



ПАСТЕРНАК

СТИХИ И ПОЭМЫ 1912-1932

МИЧИГАН

МІСІГАН

**БОРИС ПАСТЕРНАК
СОЧИНЕНИЯ**

Стихи и поэмы
1912-1932

Проза 1915-1958. Повести, рассказы,
автобиографические произведения

Стихи 1936-1959. Стихи для детей.
Стихи 1912-1957, не собранные в книги автора.
Статьи и выступления

Доктор Живаго

СТИХИ И ПОЭМЫ
1912-1932

БОРИС ПАСТЕРНАК

СТИХИ И ПОЭМЫ 1912-1932

Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова

Предисловие Жаклины де Пруаяр

Вступительная статья Владимира Вейдле

ANN ARBOR
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

Copyright © by The University of Michigan 1961

All rights reserved

Published in the United States of America

by The University of Michigan Press

and simultaneously in Toronto, Canada,

by Ambassador Books Limited

Library of Congress Catalog Card No. 60-15772

Manufactured in the United States of America

by Rausen Bros., New York, N. Y.

ОТ РЕДАКТОРОВ

Настоящее трехтомное Собрание сочинений Б. Л. Пастернака не притязает на исчерпывающую полноту. Начать с того, что, строго говоря, в него не входит самое крупное и прославленное произведение автора — роман «Доктор Живаго». Но этот роман, изданный по-русски впервые тем же издательством, составляет как бы естественный четвертый том настоящего собрания. Кроме того, нами не разысканы некоторые альманахи, журналы и газеты, в которых опубликованы произведения Пастернака. Не входят в наше собрание и многочисленные переводы Пастернака, которые сами по себе составили бы не менее трех томов. Нами включены лишь те стихотворные переводы, которые являются органической частью его статей о принципах художественного перевода.

Однако, настоящее издание является первой попыткой наиболее полно представить в одном собрании как стихотворения и поэмы, так и прозу Пастернака.

Как правило, нами принимались тексты последних публикаций, за исключением нескольких особо оговоренных в примечаниях случаев, когда изменение или сокращение текста было вызвано причинами явно не художественного порядка. Основным источником для установления последней авторской редакции значительного числа текстов явились корректурные гранки уже набранного и сверстанного, но не вышедшего в свет собрания стихотворений Пастернака (1957), с собственноручными исправлениями, сокращениями и дополнениями автора.

Варианты и разночтения приводятся нами в приложениях в конце каждого тома.

Некоторые первые редакции произведений Пастернака являются, по существу, совершенно самостоятельными про-

изведениями, резко отличающимися от одноименных произведений в их окончательной редакции. Поэтому в особом приложении даются первые редакции наиболее значительных произведений или произведений, в которые, при их переработке, было внесено так много нового, что изменился сам характер вещи.

Первый том Собрания сочинений содержит стихи и поэмы Пастернака 1912-1932 гг. Состав и расположение материала в первом томе в значительной мере соответствуют составу и расположению материала в книге: Борис Пастернак. Стихотворения в одном томе. Изд. 3-е. Изд-во «Художественная Литература», Ленинград, 1936. Но внесено много стихотворений, не вошедших в этот однотомник, и чуть ли не половина стихотворений дана в их позднейшей редакции. Кроме того, в конце книги даны те стихотворения из первого сборника Пастернака «Близнец в тучах», которые не были включены автором в первый раздел книги «Поверх барьеров. Стихи разных лет», изд. 1929 и 1931 гг. В примечаниях указываются, как правило, не только первые публикации каждого произведения (если редакторам удалось их найти), но и все последующие публикации, если они в чем-либо отличались от первой публикации и последней редакции произведения.

Во второй том включена проза Пастернака 1915-1957 гг.

В третий том вошли книги стихов Пастернака 1943, 1945 и 1959 гг., книги стихов для детей, стихи 1912-1957 гг., не собранные в книги автора; статьи о литературе, музыке, принципах художественного перевода, автобиографические заметки. В третьем томе дана и сводная библиографическая справка — опыт библиографии Пастернака.

Каждому из трех томов предпослана особая вступительная статья В. В. Вейдле. В первом томе кроме того напечатано общее предисловие, написанное графиней Ж. де Пруаяр, лично хорошо знавшей Б. Л. Пастернака. Познакомившись с ним в Москве в 1957 году, она переписывалась с ним почти до самой его смерти. Когда Б. Л. узнал о том, что готовится настоящее собрание его сочинений, он выразил желание, чтобы предисловие к нему было написано именно графиней Пруаяр. Это придает ее предисловию особую ценность.

Редакторы приносят благодарность всем лицам, способствовавшим собиранию и сличению материалов, корректированию текстов и выходу в свет этого собрания сочинений Б. Л. Пастернака, особенно же *О. Н. Анстей, Н. С. Благовещенской, Ж. Б., А. С. Геренроту, И. Ф. Дорошу, И. В. Елагину, Г. М. Каткову, Д. И. Кленовскому, В. И. Коварской, В. Ф. Маркову, Елене Матвеевой, И. М. Ниману, И. М. Перегонову, графине Жаклине де Пруаяр, А. К. Ранниту, Дж. Риви, Б. И. Сагатову, Б. Е. Странову, Ю. К. Терапиано, Т. Г. Терентьевой, Л. А. Толстой, И. М. Толстому, Т. О. Федоровой, В. С. Франку, Максу Хэйуорду, З. В. Юрьевой* и тем владельцам частных книжных собраний, которые предоставили нам свои материалы для использования.

*Глеб Струве
Борис Филиппов*

ПРЕДИСЛОВИЕ

О мир ожидающий,
Мир истомленный!
Ты жаждешь быть созданным,
Ты ищешь творца.
До меня долетел
Нежно сладостный стон
Призыва.
Я прихожу.
Я уже пребываю в тебе,
О мой мир!
Таинственной прелестью
Чувств неизведанных,
Сонмом мечтаний и грез,
Огнем вдохновенья,
Исканием Истины,
Желанием запретным,
Свободой божественной.
О мир мой возлюбленный,
Я прихожу.

А. Скрябин, Поэма Экстаза.

После того, как я по разным причинам, к большому огорчению самого Б. Л. Пастернака, отклонила предложение написать вступительные статьи к каждому из томов настоящего Собрания сочинений, Борис Леонидович в последнем своем письме ко мне, в апреле 1960 года, еще раз просил меня, если у меня «будет время и желание», написать общее предисловие к этому первому полному изданию его произведений. Наша с ним дружба, которая раньше побуждала меня хранить молчание, теперь, после его смерти, диктует мне эти страницы. То, что я пишу

здесь, не притязает быть литературно-критическим очерком о писателе Борисе Пастернаке и его творчестве. Моя цель — дать читателю правдивый портрет человека, которого я знала и любила и которого считаю одним из величайших гениев вечной России. Многие из того, что я пишу, основано на моих частых и долгих беседах с ним зимой 1957 года, когда я с ним познакомилась, и на нашей с ним после того переписке, конец которой положила только его смерть.¹

**
*

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь —

так закончил Пастернак свои стихи о смерти сапера, написанные в 1943 году. Перечитывая эти строки, невольно думаешь о самом поэте: не представляется ли нам теперь вся его жизнь именно жертвенным путем «к свету и величию»? Пастернак был великим человеком в полном значении этого слова. Он принадлежал к людям, ведущим человечество к совершенству. Уже от природы он был одарен качествами, редко встречающимися в сочетании: духовной и телесной силой, живой отзывчивостью, твердым и в то же время доброжелательным характером, светлым умом, восприимчивым и творческим, и жизненной энергией.

Но подлинное величие Пастернака состояло в его способности выявить эти качества не только в поэтическом творчестве, но и во всей его жизни. То и другое — единое, неделимое целое. То и другое — зеркало его души, души прежде всего верующей. Ни в одном из своих произведений, за исключением стихотворения «Нобелевская премия», написанного в минуту отчаяния, Пастернак прямо не говорит об этом. Чтобы лучше понять Пастернака,

¹ Переписка наша, по желанию Б. Л., велась по-французски, и в дальнейшем все цитаты из его писем приводятся в переводе.

надо знать, что он был крещен еще в младенчестве своей няней. Вот что он сам писал об этом в письме от 2 мая 1959 года:

«Я был крещен в младенчестве моей няней, но вследствие направленных против евреев ограничений и притом в семье, которая была от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызывало некоторые осложнения и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском унастроении в годы 1910-1912, когда выработывались корни, самые основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни... Меня со всех почти сторон спрашивают о моих мнениях, моих убеждениях чуть ли не обо всем на свете, и не хотят верить, что у меня нет никаких. Такого рода подходы не имеют для меня никакого значения. 'Суждение' о Духе Святом ничего не значит по сравнению с присутствием Его самого в произведении искусства. Отсюда начинается великое, чудесное...»²

² В виду своеобразия формы, в которую выливались мысли Пастернака, привожу это место из его письма во французском подлиннике:

“J’ai été baptisé par ma bonne de prime enfance, mais à cause des restrictions contre les juifs et surtout dans une famille qui en était exempte et jouissait d’une certaine distinction acquise par les mérites artistiques du père, le fait s’était un peu compliqué et restait toujours mi-secret et intime, objet d’une inspiration rare et exceptionnelle plutôt que d’une calme habitude. Mais je pense que c’est la source de mon originalité. Je vivais le plus de ma vie dans la pensée chrétienne dans les années 1910-1912, où se formaient les racines, les bases principales de cette originalité, la vision des choses, du monde, de la vie. . . On me demande de presque tous les côtés mes opinions, mes convictions sur presque toutes les matières du monde et on ne veut pas croire que j’en aie nulles. Ces points de vue n’ont aucune importance pour moi. Une ‘opinion’ sur le Saint-Esprit ne vaut rien auprès de sa propre présence dans une oeuvre d’art, d’où le grand, le merveilleux commence. . .”

Признав раз навсегда первенство Духа, Пастернак дал этим известное направление всей своей жизни и оставался ему верен. Поэтому он мог написать мне в августе 1959 года: «Моя жизнь сейчас (внутренне очень интенсивная) кажется мне простым следствием начал, давно мною принятых и осуществляемых. Это движение более деятельное, более непрерывное, более прямолинейное, чем когда бы то ни было — полу-желание, полу-долг».

Пастернак никогда не был ни богословом, ни законоучителем. Ему незачем было говорить: «Я верю в Бога». Ему незачем было рассуждать догматически на эту тему. Он не был по призванию философом, как не был по призванию и композитором. Он призван был быть поэтом, выражать глубину своей сущности через «образы, то есть чудеса в слове» («Повесть»), а «не через законченные, частичные, разрозненные символы», возможность которых он отрицал как для себя, так и для другого, если этот другой — художник, и не через «аллегории и криптограммы». Слова в его произведениях не имеют «скрытого смысла». Если читатель находит, что «произведение не исчерпывается тем, что в нем сказано и напечатано», если он видит «в нем еще что-то», то пусть он знает, что «это что-то есть лишь некое общее качество, веяние, движение, которое пронизывает всё данное произведение и делает его тем, что оно есть, не в силу какой-либо скрытой идеи, подобно разгадке ребуса, но подобно тому как душа наполняет тело и не может быть из него извлечена». Так писал мне Пастернак в письме от 20 мая 1959 года, имея в виду главным образом свой роман «Доктор Живаго». И то, что он писал тут о своем творчестве, применимо и к его личному общению с людьми.

У Пастернака была *лучезарная* душа. Всякий, кто знакомился с ним, бывал сразу покорен им. Не было за последние тридцать лет друга, гостя, журналиста, который не упомянул бы о теплом приеме Пастернака. Радушность его приема стала легендарной. И все понимали, что это была не простая учтивость, а проявление его внутренней жизни, исполненной любви. Не у себя в семье, в доме, за столом принимал вас Пастернак, а в своем сердце. Не Пе-

ределкино покидали вы с сожалением, а самого Бориса Леонидовича. Даже если он не мог принять вас у себя дома, а только встретить у дороги или на тропинке, прием был такой же.

Тепло, излучаемое его взглядом, уничтожало все преграды между ним и его собеседником. Всякое стеснение, всякая застенчивость пропадали. Вы сейчас же чувствовали себя непринужденно. Бесконечная нежность его голоса пленяла вас и увлекала вдаль, туда, где жизнь — в этом он был убежден — прекрасней. И если «влечение к победоносной красоте» было «душой» его романа, как он написал мне однажды, оно отражало также стремление всего его существа «к свету и величию».

**

Преобладающей чертой личности Б. Л. была стремительность жизненного порыва.³ Для него любовь к Богу была прежде всего любовью к жизни, которую он называл «своей сестрой». И эта *названная сестра* была до конца его дней главной, если не единственной, его вдохновительницей.

Казалось альфой и омегой, —
Мы с жизнью на один покрой,
И круглый год в снегу без снега
Она жила, как *alter ego*
И я назвал ее сестрой —

писал поэт в 1936 году. Двадцать лет спустя это слияние с жизнью оставалось всё тем же.

По мнению самого Пастернака, его личное восприятие жизни согласовалось с направлением современной науки, с тем, что она «открывает нам о жизни». Наука пришла не разрушить его веру, а ее укрепить. «Во время приступов самого глубокого отчаяния в мои юные годы — писал мне Б. Л. весной 1959 года — я не переставал по-

³ В том смысле, в каком это выражение употреблял Анри Бергсон (*élan vital*).

стигать, я не скажу мир или вселенную, но какое-то измерение вещей несравненно более широкое, чем мои личные испытания; и даже в слезах, на пороге отчаяния я восхищался влекущим и всё превосходящим величием природы, того бытия, которое было передо мной и надо мной и не было мною».

Жизнь никогда не останавливается, она непрерывно идет вперед, она всегда в движении. Пастернак был как бы зачарован этим движением. Его поэтический мир — мир в движении. «Я любил — писал он мне — движение в самых разных его проявлениях, явления силы, действительности. Я любил схватывать этот стремительно взвихренный мир и передавать его».

Так же непрерывно было движение его души. Пастернак был человеком всецело обращенным к будущему. Если он любил прошлое, как человечества, так и свое собственное, если он воссоздавал то и другое в своем творчестве, тесно их связывая, то только потому, что прошедшее, *пережитое* — это единственная реальность, это то, из чего, как цветок из бутона, вырастает настоящее. Но как в цветке уже заключен плод, так и настоящее уже содержит зародыш будущего. Пастернак ни за что не хотел оставаться в плену у настоящего, он не хотел позволить настоящему заслонить от него будущее, он хотел во что бы то ни стало — писал он мне в декабре 1959 года, в то время как он работал над оставшейся незаконченной пьесой «Слепая красавица» — сделать еще раз мучительное усилие, «рвануться вперед, оторваться от почвы, от настоящего, ухватить кусок, частицу того темного и волшебного, что зовется судьбой, будущим». И что он это делает, он был уверен...

Пастернак любил говорить о будущем, о своей вере в победу жизни. Он был глубоко убежден, что «придет пора», когда

Силу подлости и злобы
Одолеет Дух Добра.

Он верил, что эта победа совершится на земле, что «за эрой паровоза наступит эра любви». Каким именно бу-

дет новое общество, как удастся человеку перестать быть рабом паровоза и стать действительно царем творения, он не мог сказать. Когда наступит лучший мир, ему не дано было знать, но он знал, что «наша теперешняя жизнь бесповоротно осуждена», что этот враждебный мир, полный безумия и злобы, не может продолжать существовать, потому что он — мир «выдуманный, искусственный, абстрактный и нереальный, и проходит сейчас свою последнюю фазу». Сколько времени продлится эта фаза, он не мог сказать. Но он был глубоко убежден, что от нас самих зависит более или менее быстрое наступление этого лучшего мира — от нашей верности самой нашей сущности, от того, как мы живем.

Эта вера помогла Пастернаку преодолеть все испытания. Она была источником его духовной силы. «Мы не только торжествуем над всем, — писал он мне в открытке от 3 августа 1958 года, — но именно эта враждебная нам сила неприятностей и препятствий оказывается всего больше нам на руку, сохраняя за нашей победой то живое, пережитое, глубоко прочувствованное, без чего эта победа выродилась бы, быть может, в пустую отвлеченность, в напыщенные фразы... О, Жаклина! если бы я мог Вам выразить как всё чудесно, как всё исполнено будущего, даже в этот последний час, в нескольких шагах от неминуемого конца!»⁴

Эта вера была заразна. Прикасаясь к ней, одни находили свой путь, другие вновь обретали силу и мужество продолжать жизненную борьбу и в ней побеждать. На всё падали лучи света и радости. Присутствие русской молодежи на похоронах поэта было ярким свидетельством этому.

⁴ Вот это место во французском подлиннике Пастернака:

“Non seulement nous triomphons de tout, mais c'est précisément cette force ennemie des chagrins et contre-temps qui nous rend le plus haut service en conservant le vif, l'éprouvé et le profondément senti à notre victoire sans quoi elle dégénérerait peut-être en un rien abstrait, en phrases grandiloquentes . . . Oh! Jacqueline puisse-je vous dire comme tout est merveilleux, comme tout est plein d'avenir même à cette heure avancée, à quelques pas de la fin probable!”

Жизненный порыв сливался у Пастернака с неотразимым обаянием. До последнего дня его жизни каждый чувствовал себя готовым сделать для него даже невозможное. Несмотря на всякого рода грязь, на жизненные бури и потрясения, Борис Леонидович сумел до конца сохранить *сердце ребенка*. Ему дана была детская простота, порой даже обезоруживающая наивность, а иногда вследствие чрезмерной доверчивости к людям он даже проявлял слабость и легковерие. Ему свойственна была детская прямота и пылкость, но в то же время свежесть и тонкость чувств, деликатность по отношению к людям. Это свойство он с годами развил до крайности: он всегда боялся задеть своего собеседника даже невольно. Иногда он не хотел принимать какое-нибудь решение из боязни обидеть человека, и тогда он предоставлял решение вопроса самой жизни. И проистекало это не от малодушия или желания приспособиться, а от доброжелательности, уважения к другому. Внутренне же он был стоек и непоколебим.

Главное же, несмотря на все страдания, которые избородили жизнь Пастернака, его детское сердце не знало горечи. Он умел ненавидеть с такой же страстностью и горячностью, как и любить. Но он мог ненавидеть своего врага только открыто. Все свои чувства неприязни он считал «несправедливыми», во всех разногласиях с кем-либо всегда винил только себя. Но исправлять себя он «решительно не мог или не хотел».

Борису Леонидовичу чужда была расчетливость, он неспособен был к мстительности, презрению, злопамятству. Он был само благородство: всегда был рад всё отдать, ничего не прося для себя; всегда был бесконечно признателен за малейшую услугу. Он не замечал своих обид и огорчений в постоянном обновлении всего своего существа, неизменно отзываясь сердцем и душой на всё, что жизнь могла принести нового. И он умел всегда по-новому смотреть на жизнь, вещи и людей — взглядом поэта, стремящегося к «всепобеждающей красоте», всег-

да готового «дорогу будущему дать». Жизнь, вещи и люди были для него постоянно новы. Марина Цветаева могла бы повторить в 1960 году то, что она сказала в 1922 году: не Пастернак ребенок, но мир в нем ребенок.

**
*

Душа и сердце Пастернака были не только открыты людям и вещам, они шли навстречу им. Если Пастернак умел так прекрасно принимать, то это оттого, что он умел как никто *воспринимать*. Он не был тем, что принято называть «беспокойной натурой». В нем слишком глубоко вкоренилась вера ребенка в торжество жизни, чтобы взгляд его мог задерживаться на материальных случайностях. Пастернак был человеком, наделенным повышенной чувствительностью, с душой всегда открытой для восприятия. Я бы сказала, что наряду с жизненным порывом и детскостью отличительной чертой его была именно *восприимчивость*. Пастернак принимал мир в свою душу, а не отпечатлевал свой образ в мире. Во всем его творчестве мы видим мир близкий нам, не взвихренный, как у Блока, а «преображенный» его творческим восприятием. Эту восприимчивость, которой отмечено всё творчество Пастернака, он считал основой всего. Уже в 1922 году в статье «Несколько положений» он писал: «Современные течения вообразили, что искусство — как фонтан, тогда как оно — губка... Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия. Ему всегда следует быть в зрителях и глядеть всё чище, восприимчивей и верней».

Образ губки весьма примечателен. Он предполагает нерушимость, цельность художника: окружающая действительность не должна изменять сущность художника, так же как жидкость, пропитывающая губку, не меняет ее вещества. Но восприимчивость не должна быть пассивной. Поручкой цельности художника — именно чистота и верность его взгляда. Чтобы видеть как следует, «глаз его должен направлять страсть творческого созерцания,

которое своей вспышкой усиливает видимость предмета» («Автобиография»).

В 1936 году Пастернак писал:

Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Я не могу здесь анализировать тему силы, как Пастернак толкует ее в «Охранной грамоте». Но что он хотел видеть? Что он хотел схватить и передать?

В одном стихотворении (лето 1958 года) Пастернак восхищается возрождением природы после живительной грозы и дальше говорит:

Рука художника еще всесильней:
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.

(«После грозы»)

Пастернак часто в своей переписке со мной возвращался к этому основному для него понятию. Так, весной 1959 года он мне писал о романе «Доктор Живаго», как о «произведении реалистическом по замыслу, по исполнению и по заданию». Задачей романа было, по его словам, с одной стороны, описать определенную действительность известного периода, то есть русскую действительность последних пятидесяти лет; а с другой стороны, подчеркнуть, охарактеризовать и описать также и нечто другое. Что же именно? Действительность как таковую, самое действительность, действительность как явление или категорию философии — действительность в себе.

Дальше в том же письме Пастернак объяснял мне, что «большое искусство всегда старалось передать целостное восприятие жизни», но всегда «в зависимости от философии своего времени и потому — различными способами». Например, девятнадцатый век — Флобер, Толстой, Мопассан, особенно натуралисты — старался вывить задний план, фон (действительность), подчеркивая

обусловленность человеческой природы, детерминизм, причинную связь всего происходящего». Для самого же Пастернака «это 'всё', называемое 'миром' или 'вселенной', не было неподвижной рамкой, чем-то заданным. Вся эта действительность, целостность мира была в свою очередь одушевлена взволнованностью совсем иного порядка, нежели видимые органические или материальные движения». «Я могу, — продолжал он, — определить это чувство только сравнением. Как если бы картина художника, полотно, исполненное бурного движения (например, рембрандтовский 'Ночной дозор'), было сорвано и унесено ветром, каким-то неведомым внешним порывом, не имеющим никакого отношения к движению на картине. Как если бы этот вихрь вздул холст картины, заставил его летать, вечно носиться и не поддаваться в основном человеческому познанию».

Итак, для Пастернака есть что-то существенное, что ускользает от познания. Поэтому он старался «поколебать идею железной причинности, неотвратимой необходимости»; он хотел показать, что то, что ускользает от нашего познания и разума, может быть постигнуто чувством и передано художником, если только он остается верен жизни, если, как Шопен, он смотрит «на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете» (статья о Шопене).

Так именно смотрел на свою жизнь Пастернак. Целью его творчества было, по его собственным словам, «передать действительность так, как он ее всегда видел и переживал, как зрелище воплощенного и катящегося вдохновения, как явление, возникающее от свободного выбора, как один вариант среди других, как что-то предначертанное свыше». Поэтому в глазах Пастернака «реализм — ответ жизни художника на действительность: восприимчивость, вдохновение художника должны быть чрезмерны, фантастически необычны, поскольку сама жизнь реальна до чрезмерности и фантастична. Примером такого реализма представляются жизнь и творчество и Блока и Белого: у них фантастическое переплетается с действительностью. Они настоящие художники-реалисты,

ибо в самом деле в начале века действительность была фантастической» (письмо от конца 1959 года).

В своей статье о Шопене, которой он придавал большое значение, Пастернак пишет, что «в любом искусстве реализм представляет, по-видимому, не отдельное направление, но составляет особый градус искусства, высшую ступень авторской точности». Дальше в той же статье Пастернак объясняет, что эта авторская точность, иначе говоря — верность сущности вещей, ставит перед художником-реалистом невероятные требования. Он не должен, в отличие от художника-романтика, довольствоваться «ходульным пафосом, ложной глубиной, наигранной умильностью, всякого рода искусственностью». Художник-реалист не свободен: «Его деятельность — крест и предопределение», он должен оставаться верным действительности.

В упомянутом письме от конца 1959 года Пастернак развивал эту мысль с еще большей силой: «Я никогда не любил и даже не понимал (да и не верил в существование) ни фантастического, ни романтического элемента самого по себе, как независимой области. Я никогда не любил и не понимал странности Гофмана или, например, Карло Гоцци. Для меня искусство — одержимость, художник — человек одержимый, задетый, пораженный действительностью, повседневным существованием, которое для живой яркой восприимчивости представляется еще более сказочным, именно благодаря этому непрекрашенному и прозаическому элементу».

Из этой одержимости вытекает полная невозможность для художника быть рассеянным: он может тогда упустить какую-то долю реальности, ей изменить. И в самом деле, Пастернак сам никогда не был рассеянным. Как летчик в его стихотворении «Ночь», внутренне он никогда не дремал; наоборот, чутко прислушивался к внешнему миру, как бы желая впитать его в себя. Он слышал малейшее трепетание жизни в шелесте листьев или в журчании воды, в пении птиц, в уносимых ветром облаках, во всем, чем полна его поэзия. Такое прислушивание к жизни помогало ему в его творчестве, и он писал мне по

выходе из больницы весной 1958 года: «Весна, грязь на дорогах, прозрачные леса, щебетание птиц — все это делает за меня половину работы и подгоняет закончить остальное».

Пастернак чувствовал также «знамения времени» в истории и не давал событиям обманывать себя. С такой же тонкостью он чувствовал малейший трепет человеческой души, выслеживая его не из склонности к психологическому анализу, а из любви к этой душе: он всегда готов был восхищаться ею и показывал ее «не как предмет, который разочаровывает и поработщает, но как тайну, которая удивляет, привлекает и освобождает».

**
*

Такое отношение к жизни, к природе, к человеку внушено было Пастернаку *любовью*. Он страстно верил в силу любви всепобеждающей своей самоотверженностью. Быть «всеми побежденным» — вот в чем «победа любви» на этом свете, ибо жизнь должна быть понята как жертва, объясняет Николай Николаевич Веденяпин в романе «Доктор Живаго». Зато жизнь приносит утешение человеку:

Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

(«Смерть сапера»)

Уже в 1931 году в «Охранной грамоте» Пастернак говорил о роли, которую играет любовь в духовном развитии человека, и утверждал, что «все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили или имели случай любить». Конечно, речь шла не о легкомысленной или поверхностной любви, но об искренней, «самоотверженной и беззаветной» любви, о его любви к Скрябину. Надо всегда любить «с силой равной квадрату расстояния», то есть с детской стремительностью, объяснял тогда Б. Л. А в «Докторе Живаго» он идет еще дальше и утверждает, что «любовь к ближнему — высший вид живой энергии».

Летом 1958 года Пастернак писал в одной из своих

открыток ко мне о своих впечатлениях от первых критических статей о романе на Западе и о заботливости некоторых его друзей. Вдруг ему вспоминается, как зародился роман, и он спрашивает себя: «Надо ли любить просто или любить бессмертное в нас, единственное, что ценно? И это — единственный вопрос, который ставится между мной и властителями дум моего времени, критиками и друзьями, единственное, что я храню и держу в себе физически, то есть плотью и кровью, так страстно и по-земному. Это горсть русской земли. И это именно то, чего хотел от нас Христос, думается мне».

Итак, для Пастернака любовь к Богу проявляется в любви к человеку, а любовь человека, в свою очередь, должна быть внедрена в страстную любовь к родной земле. Его любовь к человеку, впоследствии, может быть, углубленная под влиянием Чехова, которого он очень любил, хотя редко говорил о нем, видна в одном из первых восприятий Пастернака-ребенка:

. . . с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле —

писал он в 1932 году («Весеннею порою льда...»).

В своей «Автобиографии» поэт объясняет, как это произошло: «Из общения с нищими и странницами (во время прогулок с няней), по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое».

Мучительное восприятие чужого несчастья и несправедливости пробудило совесть ребенка и наложило на него неизгладимую печать, так же как, почти одновременно, мучительное восприятие музыки — «сладкая щемящая мука», разбудившая его и заставившая «заплакать от то-

ски и страха» — пробудило раз навсегда его сознание и отметило неизгладимой печатью его художественную натуру.

**
*

Мир человека, мир искусства вторглись в душу Пастернака через *страдание*. Страдание сопровождало жизнь Пастернака до самого конца: до душевного одиночества во время агонии. Оно объединило разные его стремления, выковало его внутреннюю целостность и укрепило его душевные силы. Пастернак много страдал. Мы не будем перечислять здесь его муки. Скажем просто: чувствовал ли он страдание вокруг себя, испытывал ли он его душой и телом — его душа всё углублялась и всё больше открывалась другим. И к концу жизни он мог написать:

Я чувствую за них, за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмую.

(«Рассвет»)

Это все знали, и люди приходили к нему,

Чтоб тайная струя страдания
Согрела холод бытия.

Борис Леонидович никогда не сетовал. Он не жалобливался и страданиями других, он действительно сочувствовал всем своим существом. Он стремился облегчить чужое горе всей своей нежностью и, если это было нужно, заполнить пустоту всей силой своей любви. Поэтому его жалость никогда не была оскорбительной, а глубоко отрадной.

Зло же он ненавидел, потому что зло обезображивает, потому что оно роет бездну, выедаёт всё и в конце концов ведет к смерти. Но он знал, что зло уже побеждено, что весна рассказывает каждый год, как

Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

•(«На Страстной»)

Под «усильем» Пастернак понимает свободно принятое страдание. Поэт глазами Магдалины провидит как *крест* «будет к небу рваться» и увлечет за собой того, кто научился его «обнимать». Но крест подымает к небу только то, что он собой покрывает. А как необъятно «раскинуты по концам креста» руки Спасителя!

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц? —

спрашивает себя Магдалина («Магдалина», II).

Да, отвечает Пастернак, который в «Докторе Живаго» опять возвращается к мысли, уже высказанной в «Повести» — о том, что «ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром». Симушка восхищается, как «отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной». Полнота, принесенная во времени и в пространстве Христом — Его воплощением, смертью и воскресением — вот «огромное значение» этого события, которое «с точки зрения древности было ничтожно».

Во времени. По понятию Пастернака, который сам был неистовым работником, «человек состоит из двух частей: из Бога и работы». «Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы» — объясняет Симушка. «Такой работой был Египет, такой работой была Греция, такой работой было библейское Богопризнание пророков, такая, последняя по времени, ничем другим пока не смененная, всем современным вдохновением совершаемая работа — христианство».

История человека остается для Пастернака Священной Историей. Но «только после Христа — говорит Веденяпин в начале романа — века и поколения вздохнули свободно. Только после Него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме». Такое понимание истории вытекает из подлинной традиции Израиля.

В пространстве. Тут тоже Пастернак возвращается к Апостолу Павлу и к его мысли о «всемирной связности», по которой тварь, оторванная от Бога из-за греха человека, мучится доныне в ожидании «откровения сынов Божиих» и освобождения «от рабства тлению». Не тут ли надо искать ключа к поэтической личности и призванию Пастернака? Не природа утешает поэта, а поэт успокаивает природу:

Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городской гранью
Земле не тосковать одной.

(«Земля»)

Не слышал ли он, еще ребенком, в тембрах скрипки и виолончели будто «зовы на помощь», доносившиеся в окно из внешнего мира? И заметьте, сколько окон мы встречаем и какую роль они играют в жизни и в поэзии Пастернака! Поистине этот человек не жил в замкнутом мире. Его искусство глубоко конкретно и воплощено: «Всё оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, всё рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности» («Повесть»).

Впоследствии, в минуту отхода, всего труднее поэту сказать: «Прощай... Образ мира в слове явленный». Не замечательно ли, что Пастернаку снились смерть его и погребение в день Преображения Господня («Август»)? Ведь всё это «надо оценивать глазами неба», как говорит Симушка, ведь «в священной раме единственности всё это совершается». И, с другой стороны, Пастернак подтвердил весной 1959 года в одном письме, что он «всегда понимал и существо и бытие как единое-неделимое». У него всегда было «ощущение единства всего, что есть, чувство целостности всего, что живет и движется, и проходит и появляется».

Показательно, что, по собственным словам Пастернака, из всех современных писателей-богословов и морали-

стов в духе Альберта Швейцера «самым значительным, самым близким и самым родным» ему был Пьер Тейлард де Шарден. Для них обоих мир не «абсурден» и лишен значения, но имеет свой смысл: он создан для человека, он принадлежит человеку, как человек принадлежит Богу. И человек и мир должны воспевать Бога. Но в то время, как человек отвернулся от Бога, тварь — особенно у Пастернака — никогда не переставала восхвалять Бога. Человек, ослепленный злом, больше не слышит этой хвалы или, слыша, не понимает ее. Задача поэта — постичь эту гармонию и раскрыть ее смысл людям, воссоздать ее в своей поэзии, в надежде сделать людей более прозорливыми. Музыкальная природа пастернаковского восприятия мира объясняет то, что звуки в его творчестве доминируют над красками.

Поэт, по Пастернаку, тем лучше выполняет свою миссию, чем чище его душа. И тут приходит страдание: оно очищает, углубляет и оживляет внутреннюю жизнь поэта. Как и его Магдалина, Пастернак должен был почувствовать всю страшную тяжесть одиночества и пустоты прежде, чем «дорости до Воскресения». Но страдание учит радоваться. Страдание никогда не подавляло Пастернака. Несмотря на все пережитые испытания, он светился внутренней радостью. Весной 1958 года, когда его мучила «лютая боль» в колене, он писал, что, вернувшись домой из больницы, был «снова охвачен обычным своим ликованием».

**
*

Но страдание рождает радость только у тех, кто стремится жить в Духе и Истине. Надо сказать, что в случае Пастернака зерно «упало на добрую почву». Всё его воспитание в обстановке свободы, доверия, взаимного уважения и сердечности не развивало ли, не утончало ли в его душе, хорошей от рождения, чувство правды? Семейная обстановка, писал он не раз, была «проникнута духом Толстого» и его заветом: «будьте правдивы». Не потому ли Борис Леонидович в юности дважды резко переменял свой путь, увидев, что он не ведет к истине? Не та же ли причина лежала в основе его разрыва с Маяковским? Мая-

ковский ведь ушел в лже-искусство. Пастернак же чувствовал, что он призван оставаться верным действительности. И они стали в поэзии говорить на разных языках. Лучше было порвать, чем увязнуть в том, что рано или поздно должно стать ложью. Не повторял ли другими словами и отец тот же завет Толстого, когда говорил буйному сыну: «Будь честен в искусстве, и твои враги ничего не смогут против тебя»?

Не к тому ли же началу восходило открытие Пастернака, что искусство, которое должно быть независимо в своих проявлениях, может быть искренним в преклонении перед Красотой, только если оно ищет простоты и чистоты, а не искусственности? Оно служит истине не только внешне, но и в самой сущности своей, только тогда, когда оно не подчинено лжи и всяческим условностям. Ибо лишь «крупичка должного», то есть зерно истины, придает произведению искусства подлинность и делает его бессмертным. Настоящая Красота, вечная Красота — единственный лик Истины, который художник должен явить людям, если он действительно хочет быть верен своему призванию.

Толстой до самой своей смерти мучился в поисках правды. Пастернак уже в молодости разрешил своим жизнерадостным мироощущением конфликт, терзавший великого писателя. В эпоху книжки «Близнец в тучах», но особенно в эпоху сборника «Сестра моя жизнь» Пастернак уже ставил знак равенства между *эстетикой* и *этикой*. Другими словами, культ Красоты то же, что культ Истины, и нельзя их противопоставлять, «столь связаны все части между собою, столь все — цельно».

Но где же Истина? Истина — действительность, а действительность, в свою очередь — жизнь; иначе говоря, только жизнь *реальна*, только она *не лжет*. Нереальное, абстрактное — синонимы лжи. Жизнь одна прекрасна. Или еще: только жизнь не разочаровывает, потому что только она оживлена Духом Добра, Духом Любви, до конца свободным и творческим, иначе говоря — Богом.

Бог раскрывается человеку в даре жизни во всех ее проявлениях — в человеческой нежности, в красоте все-

ленной, так же, как в даре любви, призывающей человека участвовать в полноте Его славы. Человек волен отказаться от дара и уклониться от призыва. Дух не хочет раболепства. Человек волен присвоить дар, отрицать сверхъестественность и даже существование Подателя. «Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им». Человек дал себя соблазнить лживыми подобиями всемогущества, славы, наслаждения, но в погоне за нереальным он пришел к небытию. Неправильно понимая жизнь, он оказался в плену у лжи и смерти — он и его потомство. До того дня, «когда Бог стал человеком, чтобы сделать Адама Богом, когда Спаситель пошел на добровольную муку», до того дня, когда Любовь принесла себя в жертву и дала смерти победить себя, чтобы окончательно восторжествовать над смертью и вновь дать человеку участвовать в полноте жизни Духа.

Пастернаковское понимание принятия человеком истины подобно сократовскому. Каждый человек должен прийти к ней своим собственным путем, который только он один может найти. Если Истина, единая и неизменная в своей сущности, явилась человеку — «всем обещала лицу, всем по-разному свое обещание сдержала» («Охранная грамота») — надо еще, чтобы человек «не предпочел лицу безлицье», не испугался очистительной жертвы. Дух дал человеку способность внутреннего восприятия Истины, но человеку надо помочь ее воспринять. Степень внутреннего восприятия зависит от духовного взора. Чем чище, чем горячее этот взор, — то есть чем свободнее человек от рабства лжи — тем яснее его восприятие. И тем оно разнообразнее: «варианты бесчисленны, хотя и предначертаны». Каждый соответствует промыслу Провидения, слава Которого «простирается превыше небес». Еще раз человек способен ответить «да» или «нет» на Божий промысел. Если он отказывается, если он замыкается в себе, он умерщвляет всё в себе и вокруг себя. Если, напротив, он открывается животворящей силе Духа и отрекается от «раньше пережитых форм», как говорил Скрябин в своей «Поэме Экстаза», то его внутренний взор становится всё более прозорливым, его восприятие всё более живым, его излучение всё более светящимся. И тогда смерть утрачи-

вает свою трагичность: она — последнее очищение, ведущее к вечной жизни. Жизнь человека обретает полный смысл: вести борьбу Любви со всё большим и большим самоотвержением и всё большей и большей горячностью, ибо любовь к ближнему это — «высшая форма жизненной энергии», ибо

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

(«Свадьба»)

**
*

Какие формы принимали у Пастернака требования любви? Мы уже говорили о его восприимчивости, о его отзывчивости. Кроме того, своими трудами и своим поведением он как бы предлагал другим пример известного образа жизни, внутренне спокойной и свободной. Пастернак не хотел, чтобы к нему применяли слова Теренция: *Humani nihil a me alienum puto*. Несмотря на свою огромную культуру, он считал, что многого еще не знает. Но он любил говорить: «Всё, что касается человека, не оставляет меня равнодушным». У него не было никакого нездорового любопытства, а просто было желание лучше знать — чтобы лучше любить. В последние годы жизни для него было отрадой соприкосновение с людьми повсюду в мире путем переписки. Он получал иногда до пятидесяти писем в день. Эти письма обогащали его; они давали ему возможность приобщиться к мукам «ожидания зарождающегося мира», и он был счастлив этим.

Лучше знать также для того, чтобы лучше вызывать любовь вокруг себя. Переводы на русский язык были для Пастернака источником глубокой радости. Он был счастлив служить своему народу прекрасным знанием трех иностранных языков в сочетании с поэтической интуицией. Таким образом он приобщал свой народ к другим культурам, другим типам мышления, знакомил его с другими мирами, способствовал падению преград.

Но если важно лучше знать, чтобы лучше любить, то еще важнее самому стать лучше. Человеческая солидарность — это солидарность человеческих личностей. Задача улучшения мира — не в навязывании другому «своей» истины, что было бы насилием над свободой другого, а в конечном итоге и над самой Истиной; задача — помочь другому обрести Истину, ибо, если обретение Истины есть частное дело, создание условий благоприятных для такого обретения — дело всех. «Мы все за всё и за всех виноваты», говорил Достоевский.

Жить по правде также — дело каждого, но легче жить по правде в обществе, которое признает первенство Духа, чем в обществе, которое сознательно отвергает Бога, отворачивается от жизни, замыкается в себе самом, подавляет личность и признает только ненависть, насилие и право сильного, как лучшие способы обновить мир. Что может сделать человек «один против всех», когда единственное его орудие защиты — слабость? Ведь, в противоположность тому, что думал Горький, «человек совсем не звучит гордо». Он — «слабое существо», но именно в своей слабости он обретает внутреннюю силу, если им руководит Дух. В добровольной жертве, в покорности Духу лежит ответ человека на верность Бога, а своей верностью Божьему вдохновению человек свидетельствует о Духе и исполняет свою судьбу.

Свидетельство человека — прежде всего свидетельство его жизни. Человек может быть лишен всего: физической свободы, материальных благ, даже возможности говорить. Но пока он не лишен жизни, у него остается возможность свидетельствовать об Истине; самым фактом своего существования, отмеченного Духом, быть *изобличением*, живым порицанием лжи. Жизнь — самый драгоценный из даров Духа. Она священна. В мельчайшем из своих проявлений, в малейшем дуновении свободы она воспевает славу творческой Любви. Жизнь чудесна и стоит того, чтобы быть прожитой. Надо всегда быть готовым к самопожертвованию, — любил повторять Пастернак, — если того требует Дух. Надо также уметь остаться *живым до конца*, если таково требование Духа, и иногда это тяжелее...

Свидетельство человека — также свидетельство его труда, будь он рабочий или поэт. Свидетельство труда, чтобы быть подлинным, должно быть в полной гармонии с жизнью. Кто живет в Истине, совершает дело Истины. А кто живет во лжи, совершает дело лжи. Дерево судят по его плодам, и бесплодную — «недаровитую» — смоковницу «испепелило до тла». Зато от присутствия Духа Истины в жизни художника и в произведении искусства зарождается «великое и чудесное».

**
*

Если человек получил *дар слова*, требования, предъявляемые к нему Истиной, страшны. Дар слова — величайший из всех даров. Тот, кто его получил, призван в первую голову содействовать творению Бога, призван соучаствовать в проявлениях Слова Божия, воплотившегося и посланного в мир, чтобы свидетельствовать Истину. А кто нарушает требование Истины, отклоняет сознательно этот дар, не пользуется им искренне, служит другим целям, тот совершает святотатство, ибо искусство — это высшее выражение человеческой мысли, высшая связь человека с духовным миром — святыня.

Культ Истины, полученный от Толстого, чувство величия Духа, унаследованное от Скрябина, предохранили Пастернака от этих искушений. Зато он знал другое, знал искушение всех блестящих людей — искушение игры слов. Если Пастернак поддался игре слов и образов в начале своего поэтического пути, если он отдал дань «царившим вкусам», то позднее понял, что это не его путь. Можно было быть блестящим в разговоре — и Пастернак, когда бывал в ударе, был блестящим собеседником; можно было любить слова ради слов; но нельзя было ограничиться этим в поэзии. Поэзия не должна удовольствоваться блестящим и показным подбором слов. Ее задача серьезнее и труднее. Поэзия не игра слов. Но это не значит, что не надо любить и искать лучших словосочетаний. И Пастернак без конца переделывал свои произведения. Он редко

бывал удовлетворен и считал, что лишь «малейшая часть» из того, что им написано, «может быть сохранена», за вычетом «Доктора Живаго», «Автобиографии» и статьи о Шопене. Он признавался, что не любит своего стиля до 1940 года, но бывал недоволен и формой некоторых своих последних стихотворений, считая, что внешняя музыка слов в них не до конца гармонирует с внутренней музыкой замысла.

Поэзия есть не только искание во что бы то ни стало новых сочетаний, новых форм. Пастернак говорит, что он никогда не мог понять формальных исканий Белого или Хлебникова, их «мечты о новом языке». Настоящий художник, по его мнению, «всегда умел сказать свое новое слово на старом языке» («Автобиография»). Большому поэту

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

.

Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им —

пророчил Пастернак уже в 1931 году о будущем развитии своей поэтической формы. Но достичь совершенства формы через простое и чистое выражение — дело нелегкое.

Наконец, если поэзия довольствуется пустословием, она кончит «распадом форм и оскудением мысли»: этим, к несчастью, отмечено почти всё современное искусство. Тогда что же такое поэзия? Поэзия — это:

. . . размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество и чудотворство.

(«Август»)

В этой области также «варианты бесчисленны, но и предначертанны». Каждый художник должен сказать что-

то новое и особенное. Если «размах» замысла того требует, поэзия станет прозой, ибо поэт не может навязывать форму содержанию, которое он должен передать, хотя бы это была простая «сказка о драконе». Содержание выбирает форму и ее меняет, а не наоборот, ибо вдохновение свободно. Дух одушевляет букву, а не наоборот.

Свобода вдохновения необходима поэту, как, впрочем, и каждому художнику. Если он не может свободно следовать своему вдохновению, если он должен подчиниться чему-то кроме своей совести, если он, под страхом наказания, должен признавать другую иерархию ценностей, чем та, которую подсказывает ему его совесть, то ему грозит опасность изменить вдохновению Духа, он рискует затемнить и исказить Истину и, что еще хуже, стать обманщиком. Если, признав верховным критерием целостность души, он отказывается от всякого попустительства лжи, которое закабалило бы и его и его искусство, и могло бы довести его до беспросветного отчаяния, если он не принимает лжи, отвергает всякое сотрудничество в деле совращения и не дает себя самого обольстить, если внутренняя свобода ему дороже внешнего покоя, — тогда он рискует быть лишенным слова, подвергнуться всякого рода мелким стеснениям, ибо лишение физической свободы сделало бы его мучеником во имя Истины, а такой дани ложь не хочет заплатить Истине.

Но даже обреченный на молчание, притесняемый со всех сторон, наперекор всем препятствиям, он непременно постарается использовать все средства, остающиеся в его распоряжении, чтобы «бросить бутылку в море». Ибо «как зажженную свечу не ставят под спудом, а в подсвечник, и светят всем в доме, так и *слово должно быть сказано...*»

**
*

«Остаться живым до конца», чтобы ответить на требование Любви; получив дар слова, быть приговоренным к молчанию, дабы не покуситься на Истину — можно ли было причинить поэту бóльшую муку? Но пример внут-

ренне-интенсивной жизни Бориса Пастернака, его жизни столь же прямолинейной как *il tratto di Apelle*, пример его непоколебимой веры в конечное торжество Духа Добра, пример «самоотдачи» всего себя на служение искусству и людям — не говорит ли нам этот пример с еще большей силой о том, чего не могла выразить его поэзия?

Жаклина де Пруаяр

БОРИС ПАСТЕРНАК И МОДЕРНИЗМ

Первые два сборника стихов, изданные Пастернаком в 1914 и 1917 году, внимания к нему не привлекли. Зато третий, «Сестра моя жизнь», составленный из стихов того же 1917-го года, но вышедший пять лет спустя, быстро принес ему славу, которую не замедлил укрепить четвертый, «Темы и вариации», опубликованный через год после того. Вместе с этой славой к середине двадцатых годов вполне отчетливо определился, как тогда казалось, характер его поэзии, определилось и место, занимаемое им среди поэтов его поколения, а в связи с этим и отношение к нему, беспредельно восторженное у одних, как это всего ярче выразилось в статье Марины Цветаевой, более сдержанное и критическое у других, отнюдь не отрицавших своеобразия этих стихов и редкостной одаренности их автора, но считавших новшества его несколько однобокими и нарочитыми, а главное сопряженными со слишком резким отходом от всего, чем до тех пор жила русская поэзия. Различие оценок отвечало делению того поколения поэтов на две группы — петербургскую, где первенствовали Гумилев, Ахматова и Мандельштам, и московскую, где Пастернак и Цветаева уживались с Хлебниковым и Маяковским, но от которой откололся Ходасевич, более близкий, при всем различии, к своим петербургским нежели к московским сверстникам. И хотя поэтической необычности и новизны было у Мандельштама по существу не меньше, чем у Пастернака, всё же, за вычетом Маяковского (представлявшего особый жанр) и Хлебникова (всей своей личностью являвшего особый случай), именно Пастернак казался наиболее отважным и цельным выразителем самого радикального и всего тесней связанного с западным русским модернизма.

В той же перспективе воспринималось и всё написанное им после «Тем и вариаций», несмотря на новые задания поэм и на то приближение к более традиционному словоупотреблению и словосочетанию, которое называли даже «возвратом к Пушкину», отмечая его во «Втором рождении», но весь интерес которого продолжали видеть в совмещении этого более привычного языка с исконной пастернаковской ломкой языковых привычек, именно и положившей начало его славе как новатора. Восприятие это было не единственно возможным, но было всё же оправданным, и еще стихи тридцатых годов, включенные в книгу «На ранних поездках», дают достаточный для него повод. Разногласия, поскольку они продолжались, шли по прежней линии: для друзей и недругов Пастернак оставался прежде всего автором тех двух сборников, решивших его судьбу. И только совсем недавно, после появления в печати «Доктора Живаго», если не наметился для него самого (это случилось гораздо раньше), то обнаружился для нас, читателей, тот перелом в его творчестве и в отношении его к собственному творчеству, который делает невозможным судить о его стихах, как мы судили о них — всё равно восхищаясь или порицая — прежде, и заставляет нас пересмотреть все наши старые о них мнения. К тому же поэта нет более в живых; дело его завершено; отныне никакой части этого дела нельзя справедливо оценить вне мысли о целом, которое любую из них оправдывает и осмысляет.



Французской славистке Елене Пельтье, посетившей его в 1958 году, Пастернак сказал: «Я очень изменился. Когда я перечитываю теперь стихи, писанные мною в молодости, я испытываю чувство стеснения, как будто они — нечто совершенно мне чуждое и даже карикатурное, как будто я присутствую при каком-то пародировании моих собственных стихов. Теперь я пишу совсем иначе. Так пошло с начала сороковых годов». Этому вполне соответствует то, что мы читаем в «Автобиографическом очерке»: «Я не люблю своего стиля до 1940 года». — «В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся

поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени...» — «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Всё нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми они увешаны». — «Я во всём искал не сущности, а посторонней остроты».

Таков суд Пастернака, в конце его жизни, над стихами, которые его прославили. Осуждены этим судом не только самые ранние его стихотворные опыты, не только его первые две книги, но и всё его творчество вплоть до тех лет, когда оно доросло до перелома, гораздо более глубокого, чем перемены, происходившие и раньше, но не менявшие в корне направления и характера его поэзии. Суд этот менее обязывал бы нас с ним считаться, если бы он был только высказан автором, а не воплощен им в стихах последней главы «Доктора Живаго» и сборника «Когда разгуляется», — в самой ткани этих стихов, в их замысле и в выполнении этого замысла. Из последней, завершающей поры его творчества этот суд вытекает сам собой. Отсюда не следует, конечно, делать вывода, что мы должны под приговором попросту расписаться или хотя бы понимать его, как безоговорочное отвержение всего прежде написанного. Без Пастернака «Сестры моей жизни» не было бы и Пастернака, имеющего право осудить «Сестру мою жизнь». Но подобно тому, как это право было ему дано всем опытом его жизни и всем, что им было сделано, так и нам надлежит судить обо всём сделанном им, не столько следуя его суду, сколько сообразуясь с тем, откуда проистекло его право на этот суд.

Выкрутасов и побрякушек и в самом деле немало в ранних, да и не столь уж ранних, стихах Пастернака, но побрякушками они не увешаны извне, и выкрутасы неразрывно связаны с их сутью. С самого начала ему было дано очень живое и острое чувство — не слова, а скорее слов: их шершавой, скользкой или бархатистой плоти, их вещного, т. е. относящегося к непосредственному восприятию вещей, смысла. Чувство это захватывало его цели-

ком; оно шло в ущерб учету дружбы или вражды между словами, их отношения к мысли, связующей вещи воедино, их распределения по различным смысловым гнездам или пластам. Слова у него сплошь и рядом мешают слову, не дают ему высказаться или сводят это высказывание к чему-то незначительному и случайному. Выкрутасы и побрякушки, порицаемые им, это слова, осужденные заботою о слове. Понадобился труд целой жизни, чтобы их обуздать, чтобы подчинить их слову; но победа над ними не заключалась, разумеется, в простом затушевывании и приглаживании, в устранении горячей их образности, порожденной восприимчивостью к чувственным «приметам бытия», которая в таком объеме дана бывает очень немногим. Если врожденное Пастернаку чувство языка — и восприятие мира — было односторонним, то это лишь обратная сторона силы этого чувства и его подлинности. Прежде мы могли об односторонности скорбеть; теперь мы знаем, что ему удалось под конец ее восполнить, не изменяя себе, не отменяя того, что в ней было ценно, и мы судим о ней иначе. Перечитывая отмеченные ею стихи, мы, быть может, по-прежнему ощутим ее как недостаток, но уже не примем за нечто всего лишь навешанное со стороны (хоть она и отвечала тогдашней литературной моде), будем помнить, что всё достигнутое Пастернаком было достигнуто с ее помощью и что лучшие, поздние, отстоявшиеся его стихи всё еще ей обязаны тем, что их делает *его* стихами.



В свои квази-футуристические и младенческие, по литературному исчислению, годы Пастернак писал: «В искусстве видим мы своеобычное *extemporale*, задача ко-его заключается в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще». Этой мысли, извлеченной из литературного манифеста «Черный бокал», написанного, по-видимому, в 1914 году и напечатанного несколько позже во втором сборнике «Центрифуги», лучше всего отвечают два стихотворения того же 1914 года, «Цыгане» и «Мельхиор» (читатель найдет их в третьем томе настоящего издания):

Храмовой в малахите ли холен,
Возлеяи в серебре ль косогор —
Многодольную голь колоколен
Мелководный несет мельхиор.

Над канавой изнеженной сиво
Столбенеют в тускле берега,
Оттого что мосты без отзыву
Водопьянью над згой бочага,

Но курчавой крушася карелой,
По бересте дворцовой раздран,
Обольется и кремль обгорелый
Теплой смирной стоячих румян.

Следуют еще два четверостишия, столь же логически бессвязных (хоть и спаянных синтаксически), непрозрачных, как непрозрачно стихотворение в целом, но и столь же насыщенных словесной вязью, густой, текучей массой звуко-смыслов, не сливающихся в единый, всеобъемлющий, пусть и всё еще неотрывный от звука, смысл. Совершенно по тому же принципу, более никогда столь последовательно не применявшемуся Пастернаком, построены и «Цыгане», кончающиеся так:

И на версты. Только с пеклой вышки
Взлокотяся, крошка за крохой,
Кормит солнце хворую мартышку
Бубенца облетной шелухой.

Сочинение, заданное юному поэту отчасти его тогдашним окружением, отчасти им самим, и в самом деле «исполнено блестяще». Таких строчек, как эти или как первая строфа и конец третьей строфы «Мельхиора», не найти во всей зауми, не исключая и Хлебникова, удачи которого совсем в другом роде. Вместе с тем стихи эти — наиболее близкое у нас к тому, чему в западной поэзии указан был путь поздними сонетами Малларме. Никакого прямого сходства с ними, как и с другими иноземными образцами, тут не наблюдается, но едва ли не любой из этих поэтов мог бы только позавидовать неотразимости зачинательных бормотаний, невольно выговариваемых снова и снова:

Возлеяя в серебре ль косогор...

Теплой смирной стоячих румян...

Бубенца облетной шелухой...

Тем характернее для Пастернака, что он по этому пути не пошел. Стихотворений этих он не включил ни в один из своих сборников и ни одного вполне им подобного больше не написал. Сохранившиеся его стихи тех лет, как правило, гораздо слабее этих двух (по-особому удавшихся именно благодаря несколько произвольному «заказу», позволявшему проявиться бессознательной работе воображения), но повинуются они совсем иной поэтике, не той, что намечена фразой из «Черного бокала», а той, что определена в «Автобиографическом очерке»: «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину... Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной... Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт... Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал». Иначе говоря, уже и тогда он добивался того, что можно назвать сходством, уже и тогда, вопреки покаянным словам о себе, искал сущности, а не посторонней остроты. По внутреннему устремлению своему он и тогда уже не был модернистом, поскольку модернизм состоит в отсутствии всякой заботы о сходстве и в искании «остроты» при полном отождествлении ее с сущностью. «Острота», однако, не вся была посторонней: она была неотъемлема от его дарования (как неотъемлема она и от дарования вообще), была частью сущности или, во всяком случае, *его* сущности, могла, должна была послужить и сходству, а потому и выделить в ней нужное, а остальное отбросить было ему очень трудно.

Сходство, в каком бы то ни было искусстве, никогда не бывает буквальным, относящимся к такому-то материальному предмету; всегда бывает сходством не с вокзалом, а с воспринятым, почувствованным вокзалом, не с Вене-

цией, а с пережитой Венецией. Недаром даже и в беглом упоминании, на которое я только что ссылался, Пастернак, хоть и в прозе, но словами поэта говорит об этой Венеции, об этом вокзале, и его работа над этими двумя стихотворениями 1913 и 1914 года, не удовлетворявшими его и переделанными в 1928 году, показывает, что только такое сходство его и привлекало, но было недостижимо без отказа, частью от чрезмерной, частью же, по правде сказать, и от мнимой «остроты». В новых версиях сходства больше, чем в прежних, внутренний целостный образ отчетливой проступает сквозь их словесную ткань, но не все побрякушки и выкрутасы из нее изъяты и потому сама эта ткань всё еще слишком задерживает на себе внимание. Переделка многих других стихотворений свидетельствует о том же: работа идет в нужном направлении, но еще не совсем достигает цели. Изобразительное намерение, не отсутствующее даже в «Мельхиоре» и «Цыганах», почти всегда налицо у Пастернака с самого начала, причем направляется оно гораздо неизменной и сильнее, чем у многих других поэтов, на передачу не одних лишь движений души, но и видимых, слышимых, осязаемых образов внешнего мира. Он стремится изображать, в полном смысле этого слова, даже когда предмет изображения (в отличие от Венеции или вокзала) остается неназываемым, ускользающим от внепоэтического наименования. Само лирическое волнение, или, что то же, самый ритм, порождающий стих, возникает у него в тесной связи с внешними, чувственными впечатлениями; они же подсказывают ему и слова, — но вперемешку и наперебой, так что звук соперничает со смыслом, не сливаясь с ним, отдельные смыслы отталкиваются друг от друга, линия стихотворения становится слишком зигзагообразной, и частичные «сходства» мешают общему. Поэт пытается затем выправить линию, согласовать сходства, примирить смысл со звуком, но не всегда ему удается преодолеть собственное богатство, которым он еще не научился жертвовать. И не только в его работе над ранее написанными стихами, но и в писании новых сказывается всё это. Весь путь его творчества, в течение десятилетий, определен этой неустанной борьбой с самим собой.



Находок было много на этом пути; было много и срывов. Свершения, озарившие его незадолго до конца, были еще далеко впереди. Найдены были звучания и ритмы редкой прелести, такие как:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят...

Или:

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифмы просится...

Был найден (в «Спекторском») прямой, называющий вещи своими именами тон, пригодный, например, для такого описания вокзального буфета:

Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Были открыты остававшиеся ранее неузнанными ритмические ходы пятистопного анапеста, подчеркнутые разделением каждого стиха на три коротких строчки, но которые теперь, когда поэт нам их показал, образуют музыкальный узор, звучащий и без этого деления:

Мы родимся на свет. Как-нибудь предвечернее солнце
Позовет нас к окну. Мы одухотворим наугад
Непривычный закат, и при зрелище труб потрясемся
Как потрясса, кто б мог оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон будет дым на трескучем морозе,
Оголясь, как атлет, обнимать и валить облака.
Ускользящий день будет плыть на железных полозьях
Телеграфных сетей, открывающихся с чердака.

А немного спустя, и светя, точно блудному сыну,
Чтобы шею себе этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь и с небес будут бить ему в спину
Фонари корпусов сквозь туман, полоса к полосе.

При сравнении «1905 года» с «Лейтенантом Шмидтом» сразу же становится ясно, что преимущество первой из этих поэм прежде всего коренится в этом мощном, неуправляемой волной поднимающемся напеве. Ничего равного ему во второй поэме нет, вероятно потому что она не проникнута, как первая, непосредственным лиризмом, связанным с впечатлениями юности, которым предстояло лирически окрасить еще и соответствующие главы «Доктора Живаго». Во всей поэзии Пастернака, во всем его творчестве, вплоть до начала работы над этим романом, идет вообще борьба не только между словом и словами, между дисциплиной замысла, темы, высказываемой мысли и беспорядочным, бурным рождением всё новых образов, всё новых и по-новому звучащих слов, но еще и между врожденным лирическим порывом и столь же врожденной зоркостью ко всему внешнему и чужому. В «1905 годе» и та, и другая борьба менее заметны, противоречия разрешаются, но не сполна и лишь временно: в пределах этой поэмы. Окончательное разрешение их придет лишь гораздо позже, в работе над той лирической эпопеей, что завершится стихами, не только образующими ее последнюю главу, но и другими, изданными отдельно. Тогда же отпадут мешавшие этому просветлению, этому примирению враждующих начал препятствия, проистекавшие уже не из самого дарования Пастернака, такого богатого, глубокого, но и такого противоречивого в своем внутреннем укладе, а из вкуса, внушенного ему временем и воспитавшей его литературной средой. Не то чтобы его поэзия, или хотя бы поэтика, даже и в былые годы, несмотря на то, что так нравились тогдашним его поклонникам, полностью этому вкусу отвечала, но все же модернистский этот, в русском преломлении, вкус был долгое время и его вкусом, усыплял его строгость к себе, не давал отсеять в безбрежной россыпи слов, которой владел поэт, цветные стеклышки от подлинных алмазов. От этого вкуса под конец он самым решительным образом отрекся — на деле, а не только на словах. Ценой этого отречения и было достигнуто то прео-

доление модернизма и, что еще важнее, та победа над собой, плоды которых — последние стихи, а также проза и весь духовный мир «Доктора Живаго».

Это не значит, конечно, что тридцатилетний труд зачеркнут тем, для чего он был необходимой предпосылкой. Стихи, собранные нынче в этом первом томе, с их вариантами, дающими представление о некоторой части этого огромного труда, вряд ли перестанут когда-либо читаться теми, кто любит стихи и кого занимают или тревожат судьбы русской поэзии. Безупречного найдется в нем не много, совершенства в нем не следует искать, но поэзии тут вдоволь и сколько угодно свидетельств высокого поэтического дара. Погрешности, происходящие к тому же не от скудости, а от переизбытка, почти всегда искупаются, в пределах того же стихотворения, наитиями, посредственностям недоступными и способными послужить для назидания целым поколениям талантов. Вчитываться в эту книгу надо медленно и терпеливо: она вознаградит терпение. Но не мешает при этом и помнить, что автор ее, в отличие от многих русских поэтов, не умер молодым, что ему дано было исполнить все обещания своей юности и достигнуть того, к чему и в зрелые свои годы он еще только стремился — всем упорством своей воли, всей силой своего таланта и ума.

В. Вейдле

СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ

Лето 1917 года

Посвящается Лермонтову

*Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal'ich in die Wetter hin,
O Mädchen, deine Züge.*

Nic. Lenau

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуса.

НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда
Чудацеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть.
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы, в вермут окунал.

Т О С К А

Для этой книги на эпитаф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и глядась,
Иззябшей шерстью.

Теперь, качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

**

*

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого Писанья,
Нельзя оторваться и глаз отвести.

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезнет мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

П Л А Ч У Щ И Й С А Д

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тяжести
Отеков — земли ноздреватость,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях созревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверься,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете, —
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов, и слез в промежутке.

З Е Р К А Л О

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос,
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырвать, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.

И вот, в усыпительной этой отчизне
Мне зоркости глаз не задуть.
Так после дождя проползают слизи
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опишишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет и не бьет стекла!

Д Е В О Ч К А

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, в сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, — гадает, — глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

С В Е Т А Е Т

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынынчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Д О Ж Д Ъ

Надпись на «Книге степи»

Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!

— Ночь в полдень, ливень, — гребень ей!
На щебне, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, — ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглюю липовой
Садовый Сен-Готард.

КНИГА СТЕПИ

Est-il possible, — le fût-il?

Verlaine

ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег всё гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им

Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной чёлки,
И губы — фиалок.

О, неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Н Е Т Р О Г А Т Ь

«Не трогать, свеже выкрашен», —
 Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
 И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
 За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
 С тобой — белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
 Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
 Чем белый бинт на лбу!

**
*

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам — суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой не совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошенных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз — кормой!

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

БАЛАШОВ

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем — масла подливал
В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь
И песнь небес: «Твоя, твоя!»
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокан,
А впрочем — ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльской облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

ПОДРАЖАТЕЛИ

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею — в песок,
Гремучей ржавчиной — в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет,
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

О Б Р А З Е Ц

О, бедный Homo Sapiens,
Существованье — гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам.

А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

РАЗВЛЕЧЕНЬЯ ЛЮБИМОЙ

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

С Л О Ж А В Е С Л А

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Это ведь так... Это всё пустяки...
Это ведь значит — рукою несмелою
Белой ромашки пушить лепестки,
Трогать губами сирень помертвелую.

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
На соловьев состоянья проматывать!

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною навывкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это спящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, перед театром — прибор
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

СВИСТКИ МИЛИЦИОНЕРОВ

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.

Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев.
Вскакивают: за оградой
Север злодейств сереет.

И вдруг — из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами
И горлом, и глазом, назад
По-рыбьи наискось задранным!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

З В Е З Д Ы Л Е Т О М

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Двигутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде она, —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии,
А горечь грез осточертела,
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П О Э З И И

Это — круто налившийся свист.
Это — щелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист.
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох.
Это — слезы вселенной в лопатках.¹
Это — с пультов и флейт — Фигарó
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

¹ Лопатки — стручки гороха. Примеч. автора.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Д У Ш И

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком!
Сумасброд — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, — «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась — в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О, мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о, шелк мой застенчивый?

О, не бойся, прирощая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

Б О Л Е З Н И З Е М Л И

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так — шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus,
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреде по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную дóведь,¹
И — с тоскою какою-то бешеной,
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, сó льду,
Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова зáхолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

¹ Дóведь — шашка, проведенная в край поля, в дамы.

Примеч. автора.

НАША ГРОЗА

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер шиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярийный
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?!

О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озаренье
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на губах тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов пищевого листа.

Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.¹

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

¹ Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице. Примеч. автора в кн. «Сестра моя жизнь», 1923.

ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА

В О Р О Б Ъ Е В Ы Г О Р Ы

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресекались рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

РАЗМОЛВКА

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Всё еще нам лес — передней,
Лунный жар за елью — печью,
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей,
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,

Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут — солнца, в пыль и ливень?

Р А С П А Д

*Вдруг стало видимо далеко во все
концы света.*

Гоголь

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционную копной.

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится — слышит: обернись!

Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.¹

¹ В то лето туда уезжали с Павелецкого вокзала. Примеч. автора в книге «Сестра моя жизнь», 1923.

РОМАНОВКА

С Т Е П Ь

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вдыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчках волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. — Он.
— Нашли! Он самый и есть! — Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль, как мед.
Ковыль всем Млечным путем рассорен.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и ждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: — В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь, как до грехопаденья:
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыбящееся виденье!

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, — но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил Бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен.

Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На жолобах,
Как рукава сырых рубаш,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось, — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз,
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.

Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ

МУЧКА П

Душа — душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц — вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Чего там ждут, томя картиною
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Заставши слез излишней тиной
Последний блеск на рыбьем рыле?

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

МУХИ МУЧКАПСКОЙ ЧАЙНОЙ

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,
Смыл — и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пашенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой Божьей гуще.

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тьявканье овчарок,

Дуб и вывески финифть,
Не стерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.

Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,

С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.

Будто это бред с пера,
Не владеячи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.

Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, — знаю.

**
*

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

**
*

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шопот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

**
*

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размножить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют,
Из объятий, и — опять,
Не устанут повторять.

Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар...

Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.

И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый — инженер
И студент (интеллигенты).

Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Под Киевом — пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипятки,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек...
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжижать.
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой итти в депо?

Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.

Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, —
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По звону квизисан
Столы в пустых присутствиях,

И на лоб по жаре
Сочились сквозь малинник,
Где — блеск оранжерей,
Где — белый корпус клиники.

Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,
Не сир, не бос, не голоден,
Блаженствует, соперник?

Вот этот, душный, лишний,
Вокзальный вор, валанда,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?

Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает горсть за горстью
Измученной сорочке?

Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонят с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?

Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?

Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданье?

Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.

У С Е Б Я Д О М А

Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.

В городе — говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.

Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!¹

¹ С Павелецкого же уезжали и в ту осень. Примеч. автора в кн. «Сестра моя жизнь», 1923.

ЕЛЕНЕ

Е Л Е Н Е

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гниlostными.

Будешь, — думал, чаял, —
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор;
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, — Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится, — управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? — Таковую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

КАКУНИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом —
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнут плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

Л Е Т О

Тянулось в жажде к хоботкам,
И бабочкам, и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало, нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислоте блестя,
И винной пробкой пахли.

ГРОЗА, МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства,
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознания:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем!

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

**
*

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, — паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов вольтет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

**
*

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру;
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядом сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка тьмы загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

И М Е Л О С Ъ

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напомятая рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчиьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste, — но верь мне,
Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.

Казалось, не люблю, — молюсь
И не целую, — мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прерываясь в ах! —
Коралловая мякоть.

**
*

Любить, — итти, — не смолкнул гром,
Топтать тоску, не зная ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосую:
«Так это эхо?» — и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.

Как с маршем, бресть с репьем на всём.
К закату зная, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.

Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьями
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.

И, раз сваясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеен,
Наверное и он — старик
И тоже следом околеет».

* * *

Так пел я, пел, и умирал,
И умирал, и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И — сколько помнится — прощался.

П О С Л Е С Л О В Ь Е

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился, и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости.
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.

К О Н Е Ц

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова — улица. Снова — полог тюлевый.
Снова, что ни ночь, — степь, стог, стон
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет — улягутся. Вдруг — гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.

Осень. Изжелта-сизый бисер нижется.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!

О, не во-время ночь кадит маневрами
Паровозов; в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.

Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ

ВДОХНОВЕНИЕ

По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фурой
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.

Как в росистую хвойную скорбкость
Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:
Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете
Под стихом и при нем часовой.

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!

1921.

ВСТРЕЧА

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретисце,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснетса
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где в предвкушеньи водостоков
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,

Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

1922.

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, шелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь — велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав как ляжки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.

1919.

Ш Е К С П И Р

Извозничий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр.
И звонкость подков и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег.
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая, уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мунштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Остриль пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю

Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы — в трактуре.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу —
И в дверь, запустив в привиденье салфеткой.

1919.

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

*Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом сияющим от царственных
венчанний.*

*Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.*

Ап. Григорьев

Т Е М А

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы втупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелёй и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло, как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах — соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах.
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд?
Скала и шторм и — скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

1918.

ВАРИАЦИИ

1. Оригинальная

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но — тошно
И страшно, и — рвется фосфат.

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеванный бетель
Песок осушает вазос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

2. Подражательная

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.

В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара
Воображалась в мыслях кафру.
Еще невыпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной
Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайний вид. Где огибал
Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,

В последний миг еще качаясь,
Трубя и в отклике отчаясь,
Борясь, чтоб захлебнуться вмиг
И сгнуться вовсе с глаз. Был дик
Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнувших снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,
На милость черных вечеров...
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край
Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырясь,
Заколыхал камыш и ирис,
И набежала рябь с концов.
Но неподернут и свинцов
Посередине мрак лиловый.
А рябь! Как будто рыболова
Свинцовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолет
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся поимка.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
С каким он погрузился в чтение
Евангеля морского дна.
Последней раковине дорог
Сердечный шелест, капля сна,

Которой мука солона,
Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллом губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4

Облако. Звезды. И сбоку —
Шлях и — Алеко. — Глубок
Месяц Земфирина ока: —
Жаркий, бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень, как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, — заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5

Цыганских красок достигал,
Болезнь цынгой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад.
Загаром крылся виноград.
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но, шорох гроздьев перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с Очаковскою чайкой.

6

В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузничик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Нивесть каких ночей, нивесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

1918. Очаковская платформа,
Киево-Воронеж. ж. д.

БОЛЕЗНЬ

1

Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.

Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает: «Не его ль?»
Был зов. Был звон. Не новогодний ли?

Вдали, в Кремле, гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, — тихой называется.

2

С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракиновый,
Дыбятся клочья и пряди.

Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой туговой
Церковь свернуться успеет.

Что это? Лавры ли Киева
Спят купола, или Эдду

Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?

Так это было. Тогда-то я,
Дикий, скользкий, растущий,
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.

Был он, как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.

Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу, как сноп, оно
Белой плескало копною.

До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.

3

Может статья так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух, и мурлычет — и
Всё одно, одно всегда.

И чекан сука, и щека его,
И паркет, и тень кочерги
Отливают сном и раскаяньем
Сутки сплошь грешившей пурги.

Ночь тиха. Ясна и морозна ночь,
Как слепой щенок — молоко,
Всею темью пихт неосознанной
Пьет сиянье звезд частокол.

Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
Будто воском ночь заплывла,
Лапой ели на ели слепнет снег,
На дупле — силуэт дупла.

Будто эта тишь, будто эта высь,
Элегизм телеграфной волны —
Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»
Или эхо другой тишины.

Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей,
А другой, в высотах, — тугоух,
И сверканье пути на раскатах — ответ
На взыванье чьего-то ау.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух, и мурлычет — и
Всё одно, одно всегда.

Губы, губы! Он стиснул их до крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

4. ГОЛОС ДУШИ

Всё в шкафу раскинь,
И всё теплое
Собери, — в куски
Рвут вопли его.

Прочь, не трать труда,
Держишь, — вытащу,
Разорвешь — беда ль
— Станет ниток сшить.

Человек! Не страх?
Делать нечего.
Я — душа. Во прах
Опрометчивый!

Мне ли прок в тесьме,
Мне ли в платице.
Человек, ты смел?
Так поплатишься!

Поражу глаза
Дикой мыслью я —
— Это я сказал!
— Нет, мои слова.

Головой твоей
Ваших выше я,
Не бывавшая
И не бывшая.

5. ФУФАЙКА БОЛЬНОГО

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведет, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного — фланель:
То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбури, от бар
Валило! Казалось — сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем и ковры, и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

6. КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных.

Как пред концом в упадке сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою все застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящей кисти башлыка,
Здоровоющеюся в наручных.

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря.

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Боится, видно: год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнова воспитывать.

7. Я Н В А Р Ь 1 9 1 9 Г О Д А

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот, шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин,
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его
Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и — делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

8

Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твоё замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаям горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!

Движеньё помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, — помнишь, помнишь,
давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!

1919.

РАЗРЫВ

1

О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью в начале,
О горе, о горе в проказе!

О, ангел залгавшийся, — нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, — я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на́ небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слышать? Какие сплетни в городе?»

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая».
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть
в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о туши! Горячее!

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И как лилии, атласных и властных бессильем ладоней!
Отбивай, ликование! На волю! Лови их, — ведь в бешеной
этой лапте —
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах
лошадей,
Целовались залиvistым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт
и когтей.
— О, на волю! На волю — как те!

6

Разочаровалась? Ты думала — в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными,
В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянугость видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
Раздумья, решила, что всё перепашет.
Что — время. Что самоубийство ей не для чего.
Что даже и это есть шаг черепаший.

Рояль дрожащий пену с губ облизет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: милый! — Нет, — вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О, пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

1918.

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ

1. КЛЕВЕТНИКАМ

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клеветец,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клеветец,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клеветец,
Манишек аромат,
Изыщество дареной вещи,
Клеветец хиромант.

Ничтожность возрастов клеветец.
О юные, — а нас?
О левые, — а нас, левейших, —
Румянясь и юнясь?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырождение,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О Боже, Боже, может вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

1917.

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств — в западню?
С ураганом — к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. — Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. — Рубцуй!
О, не вы, это я — пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

1921.

Так начинают. Года в два
 От мамки рвутся в тьму мелодий,
 Щебечут, свищут, — а слова
 Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
 И в шуме пущенной турбины
 Мерещится, что мать — не мать,
 Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте,
 Присевшей на скамью сирени,
 Когда и впрямь не красть детей?
 Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
 Звезде превысить досяганье,
 Когда он — Фауст, когда — фантаст?
 Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
 Поверх плетней, где быть домам бы,
 Внезапные, как вздох, моря.
 Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
 Упав в овсы с мольбой: исполнься,
 Грозят заре твоим зрачком.
 Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1919.

4

Нас мало. Нас может быть трое,
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило, и мчит в караване.
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, сорвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим.

И — мимо! — Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, — с момент на намете —
Ветр вечен затем в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

1921.

5

Косых картин, летящих ливня
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.

1922.

НЕСКУЧНЫЙ САД

1. НЕСКУЧНЫЙ

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Он тоже — сад. В нем тоже — скучен
Набор уставших цвeсть пород.
Он тоже, как и сад, — Нескучен
От набережной до ворот.

И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

1917.

2

Достатком, а там и пирами
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.

Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.

В осанке твоей: «С какой стати?»,
Любовь, а в губах у тебя
Насмешливое: «Оставьте,
Вы хуже малых ребят».

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный Божий пустяк!

1917.

3. ОРЕШНИК

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимую чашей сроднишься с отвычки, —
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редее, и птичка — как гичка,
И песня — как пена, и — наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И — мимо... И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шляпкой.

О место свиданья малины с грозой,
Где в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

1917.

4. В Л Е С У

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, — не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

1917.

5. СПАССКОЕ

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло, и опять — наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок.
На берегах несмытый лиловый отек.

Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.

Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот — ропщет еще, и опять вам — пятнадцать
И опять, — о дитя, о, куда нам их деть?

Их так много уже, что не все ж — куролесить.
Их — что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.

В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.

1918.

6. Д А Б У Д Е Т

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи — ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел, — вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка — пока ты госпожа,
Пока — покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

1919.

7. З И М Н Е Е У Т Р О

(Пять стихотворений)

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки — называлось, шопотом и патокою
День позападал за колыбельку.

Выйдешь — и мурашки разбегаются, и ежится
Кожица, бывало, — сумки, дети, —
Улица в бесшумные складки ложится
Серой рыболовной сети.

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом, позднее, под чижиком, пред цветиками
Не сложеньем, что ли, с воли,
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, —
В докторском глазу ж — безумье —
Сумок и снежков, линованное, клетчатое
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,
За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,
Зимний изумленный воздух.

1918.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.

Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допить.

Раскидывая хлопок
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какую пробкой
Такую рожу выжег?

И день вставал, оплеснясь,
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.

1919.

Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Всё в снегу и всё в минувшем.

Пентюх и головотяп,
Там меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.

Треск ветвей — ни дать ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь — связать,
Упадут, стуча, похоже.

Упадут в морозный прах,
Ах, похоже, спозаранок
Вихрь беретса трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

1919.

**
*

Ну, и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.

И поднять содом со спилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпу шпилькой заколов,

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

1919.

Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать —
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет
Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, — словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс.

1919.

8. ВЕСНА
(Пять стихотворений)

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

1918.

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и — жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?
Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? — Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

1919.

**
*

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется,
И — начнется. И гул пойдет.

Как всегда, расстегнув нараспашку
Пальтецо и кашне на груди,
Пред собой он погонит неспавших,
Очумелых птиц впереди.

Он зайдет к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать,
И зевнет, и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.

И шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей,
Глупой сказкой своей про меня.

1918.

Закрой глаза. В наиглушайшем органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хorkанье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться.
Не в первый раз стараюсь, — не привык.
Сейчас по чашам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облаченье хвой,
Мирянин-март украдкою пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся.
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.

1921.

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались — гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: — с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и щелканье шпудек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

1919.

9. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

(Пять стихотворений)

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! —
Сбитая прическа, туча препирательств,
И сплошной поток шопеновских этюдов.
Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.

1918.

Всё утро с десяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе — сон, кругом — безлюдье.
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий.

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешкою Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Всё лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?

Прикосновение руки —
И полвселенной — в изоляции,
И там плантации пылятся,
И душно дышат табаки.

1918.

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обвалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.

По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу на вешалку на лето в шкаф.

И тянется, как за походную флягой,
Военную карту грозы расстелив,
К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц.

Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.

1921.

Я вишу на пере у Творца
Крупной каплей лилового лоска.

Под домами — загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.

И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.

Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.

Я креплюсь на перу у Творца
Терпкой каплей густого свинца.

1922.

Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под-руку в июле
С кружкой пива, тобою пригубленной.

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником — Тише, не гамьте! —
Шепчут и шепчут пивца загогулины.

Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступление к портерной!

Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного?
Глуби мазурских озер не разуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как Второе Пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных Судов, не съезжавшихся к сессии.

1922.

10. П О Э З И Я

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Ты — душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И в рельсовом витье двояся, —
Предместье, а не перепев, —
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго до зари
Кропают с кровель свой акrostих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена — струись!

1922.

11. Д В А П И С Ъ М А

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

И если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей, —
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.

Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выспросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался
И это — под его диктовку.

Наверно бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак.

Я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя, как прадед,
И знаменьем сложась пророчащим,
Тот дом по голой крыше гладит.

1921.

На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию
Мне свел с каких-то незнакомцев.

Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светлофиолетов.

Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдец и физиономий,
Но, сделав их на миг мулатскими,
Не сделал ни на миг знакомей.

В ту ночь я жил в Москве и в частности
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснущих
Прибил к стене мне эту сцену.

1921.

12. П Е Р Е Д З И М О Ю

(Пять стихотворений)

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Большой горизонт — и дворы озирал.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и, казалось, с последних погод
Не движутся дни, и, казалось, что вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспамятно звонкий покой!

1916.

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно-зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая на выказ, —

Смеркалась даль, — спокойная на вид, —
И дуло в щели, — праведница ликом, —
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916.

Но и им суждено было выцвести,
И на лете — налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого, —
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники, как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917.

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, но войлок и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,

Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На доньшке склянки — козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как шупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глубины и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917.

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918.

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть.
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

1926.

О Т Ц Ы

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И, однако,
За быстрою сменою лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой.
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.

Еще ночь под ружьем,
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.

Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы,
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунки.
Гром позорных телег —
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россиєю после реформ.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевах,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подполье.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,

Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен, и врагов, и друзей.

Это было вчера.
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Пряательницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.

Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.

А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в жожаки эшафот.
Шопот жертв и депеш,
Участясь,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда всё оживет.

Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях

Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя,
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь,
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

[1925].

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстоянья версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит,
И на плитах грязца.

Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,

Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть,
И жара, как в теплице.
Звон у Флора и Лавра
Сливается с шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней.
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной

От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.

В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют,
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,
На простор,
Подожженный зимой.

Восемь громких валов
И девятый,
Как даль величавый.
Шапки смыты с голов.
«Спаси, Господи, люди Твоя!»
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,

Вперед —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Панели стоят на ходулях.
Смотрят с тумб и киосков.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый,
Усталый, как слава.
Это —
(Слева и справа
Несутся уже на рысях).
Это —
(Дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

**
*

Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валяющихся с неба
Единиц
И снежинок
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега: —
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.

Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища...
Насмерть...
Сергей Александрыч...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

[1925].

МУЖИКИ И ФАБРИЧНЫЕ

Еще в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Но не радуется даль.
Как раздолье собой ни любишься, —
Верст на тысячу вширь
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства.
Ошибает
На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,
И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части,
И бушует:
Вставай,
Подымайся,
Рабочий народ.

И бегут, и бегут,
На санях,
Через глушь перелесиц,

В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Есть еще поезда.
Еще толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

Лето.
Май иль июнь.
Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.
Отеки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:
Это сыплются стекла
И струпя
Расстрелянных гильз.

Началось, как всегда.
Столкновение с войсками
В предместьи
Послужило толчком.
Были жертвы с обеих сторон.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторенное в день похорон.

И тогда-то
Загрохали ставни
И город,
Артачась,
Оголенный,
Без качеств
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движенье.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдивший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии

Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкой
Падал престиж.

[1925].

МОРСКОЙ МЯТЕЖ

Придается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия.
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.

Всё расходится врозь
И по-своему воеет и гибнет
И, свинья от тины,
По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов
Отгесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И всё ниже спускается небо
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч,
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Всё сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья,
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».

Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух:
Мясо было с душком...
И на море упали потемки.
Свет брызжал до зари
И с забрезжившим утром потух.

Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец —
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились,
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
— Все на ют!
По местам!
На две вахты! —
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
— Смирно! —
С буксирного кнехта
Грозь семистам.

— Недовольство?!
Кто кушать, — к котлу.
Кто не хочет, — на рею.
Выходи! —
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,

Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.
— Стой!
Довольно! —
Вскричал
Озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
— Снова шашни?! —
Он скомандовал:
— Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить! —
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля,
— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К лапам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там

Кистенем
Описало дугу.
— Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! —
Трах-тах-тах...
Вынос кисти по цели
И залп на бегу.

Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам,
— Он еще на борту?! —
Залпы в воду и в воздух.
— Ага!
Ты звереешь от жалоб?! —
Залпы, залпы,
И за ноги за борт
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко,
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
— Степа!
Наша взяла! —

Машинист поднялся.
Обнялись.
— Попытаем без нянек.
Будь покоен!

Под стражей.
А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, —
Каков у нас младший механик? —
— Есть один. —
— Ну и ладно.
Ты мне его наверх отправь.

День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
— Выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

[1925].

СТУДЕНТЫ

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.

Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смогло всё.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни.
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К Моховой от Охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы — в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,

И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами —
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:
«Засада!
Назад!»
Беготня.

Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»
Ниши, лестницы, хоры,
Шинели, пробирки, кислоты.
«Тише, тише.
Кладите.
Без пульса. Готов отойти».

Двери врозь.
Вздых в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
«Третий курс!

В реактивную, на перевязку!»
«Снегом, снегом, коллега».
— Ну, как?
«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.
Завейный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курящийся кровью мороз.
Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.
Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, взброс.

Мыльный звон пузырей.
Это в колбы палатных беспамятств
Взмуровалось
Сквозь стенку
Несущейся сходки вытье:
«Протестую. Долой!»
Двери вздрагивают, упрямясь.
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забутье.

[1925].

МОСКВА В ДЕКАБРЕ

Снится городу:
Всё,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,

Из окрестностей Пресни
Летит
На Трехгорное солнце,
И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль
И прислушивается
К орудьям.
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше грудей
Баррикадные ramпы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.
Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского Граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
Аквариум.
Митинг.
О чем бы
Ни оралось внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет
Дружинник

С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду, за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся седел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Тени драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральной дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Баба́х...
И — как лошади прерий —
Табуном,
Врассыпную —
И сразу легчает ему.

Шашки.
Бабы платки.
Полицейские у караулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухаает в фидлерцев
Пушкой

Машков переулок.
Полтораستا борцов
Против тьмы без числа и мерил.

После этого
Город
Пустеет дней на десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.
Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток
Только с год
Протянул провода.
Но и этот поныне
Судящийся с далью сутяга,
Для борьбы
Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.

Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
Кверху,
Как к куполу цирка:
Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их — что туч.
Всё черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
«Мин и Риман»,
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И Семеновский полк
Переводят на Брестскую ветвь.

Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,
С винчестерами, вшестером?..
Перед ними бежал
И подошвы лизал
Переулок.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и собираться.
Смеркается.
Крепнет осада.
В обручах канонады
Сараи, как кольца, горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
Добро, коли баня цела.

Сунься за дверь — содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороду бреют.
Но делу бритьем не помочь.
Точно мыло под кистью,
Пожар
Наплывает и пухнет.
Как от искры,
Пылает
От имени Минова ночь.

Всё забилося в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому, — коноводам!
Топот, взвизги кабаньи, —
На улице верная смерть.

Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казачьи верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.

Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.

VII, 1925 - II, 1926.

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций,
Крутятся в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади, размерно-бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы нэ пили,
Он рос кругом и полз по переходам
И вмешивался в разговор и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Всё кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И вот, как в дни Батыевы,
Ушедший день стал странно-стародавен.

2

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидел вас... Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! — Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!»

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины —
Откуда этот гром, —
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство?
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по известной странности,
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек.
Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев?
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К не знающему сна?
За неимением лучшего,
Он ей в герои прочитается.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояниям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости.
Вздремнет — и скок с дивана:
Бежит в воде похлопаться —
И снова на диван.
Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества, —
Он сызнава под кран.

«Давайте посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
Я всё со дня приезда
Вношу для вас в реестр
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.
Опасность увеличится
С течением дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастет.
Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость?
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

Вы скажете — ребячество.
Но близятся события.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз?
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью;
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затеи
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадьё!
И моря, и грузов, и кладки
Летящие пряди.

О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки и засовы
В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпом навстречу — увечья
Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
И, в лад лейтенантовой клятве,
Заплаканных взглядов и платьев
Кивки и объятья!
О лестницы в крепе! О пенье!
И хором, в ответ незнакомцу,
Стотысячной бронзой о бронзу:
Клянись! Клянемся!

О вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы! О ветер,
Щадящий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
«Потомства и памяти ради
Ни пяди обратно! Клянись!» —
«Клянемся. Ни пяди!»

5

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
Всё спёрлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Парит растрепой по ветру, как Бог пошлет, крыля.
Еще вчерашней ночью гуляющих заботил
Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И воронье редутов из вереницы метел
В полете превращалось в стаю песьих голов.

Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
Подклейстеренным пластырем следы недавних язв.
«Даровать населению незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить, чтоб никакой...»
И, зыбким киселем заслякотив засовы,
«На подлинном собственной его величества рукой».

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
Саперы месят слякоть, и гуляют егеря.
«Дан в Петергофе». Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

6

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во сто голов
Сечет крупой подошвы стволов,
И лоском олова берясь
На градоносном бризе,
Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.

И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.

Айва, антоновка, кизил,
И море Черное вблизи:
Ращенье гор, и переворот,
И в уши, и за уши, изо рта в рот.

Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослепленно-скотской
В волненьи глотающей волны, как клецки,
Сквозной, ристалищной тоски.

Агония осени. Антагонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша-девица
С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
(Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоя,
Родящую мятеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою.
И — случая слепой каприз:

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на изм,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни.
(А разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свои?!)
И упоенье героини,
Летящей из времен над синей
Толпою, — головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,

И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.
Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссейный
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел —
И дело в шляпе, капитан». —
«Parlez plus bas, — заметил сухо
Другой. — Притом, я не оглох.
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».

Шагах в восьми от адмирала,
Щетинясь гранями штыков,
Молодцевато замирала
Шеренга рослых моряков.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два данных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонило передрагой.
Изгладилось, как, побелев,

«Ты прав!» — вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, —
Шварк об землю ружье, и вмиг
Привстал, и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал — другого наповал,
И рвал гайтан и тискал тельник
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки,
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты — не разобрав, без злобы?
Ты стой на том, и будешь цел». —
«Нет, вашество, белить не пробуй.
Я вздраве наводил прицел». —
«Тогда... — и вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз: —
Ты сам пропал и арестован», —
Восстанья присказка вилась.

8

«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «Трех Святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и — неробкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа, по суткам целым?

Припомнишь мать — и опять безоглядно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься — картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и ответ ее серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вдохнувши мерзости бессияющей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.

Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, средь мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перечитанного к личному, —
Еще мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход... на фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбывшихся иллюзий
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе».

9

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.
Отеки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.
С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных ориентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.
Пред этим в понедельник,
В обеденный гудок —
Обезголосел эллинг,
И обезлюдел док.
Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочной
У выходных ворот.
Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.

Влились в тупик казармы
И — вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустились наутек.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы,
Кивали, подходя,
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вырываясь с моря из-за почты,
Ветер прет наощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то, что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и, несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:
Дует дальше с той же прямотой.
Вон он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то, что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, — и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится «ура».

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами, — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объяснение исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.
Всё же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб братья, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь — кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки,

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу... —
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о Боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настежь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
«Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
«Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

3

Подросток-реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши наострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрямить с оползья в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот, — поворот — другой —
— И вдруг, как вкопанные, — стоп!
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух,
И кубарем с последней кручи — бух
В сырую грудю рухнувшего бута.

4

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт,
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он спанталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И — проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И — грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий, —
Донцы и Крымский дивизьон.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепак,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья,
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит,
И откатился с плит.
«Ура» — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
«Ура» — навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.

Он вырвался, как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.
Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух — на трех — на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок.

6

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града, и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первей?
Объехать эскадру,
Усовестить ядра,
На муку подвинуть зверье из верфей.
И на миноносце ушел он туда,
Где, небо и гавань лова в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далее дымились суда.
Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
Под лад броненосцам
Качался и неся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

7

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.

И вот, строгая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

8

Снова, на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.
Снова, приветствуем экипажем,
На броненосцы всходил и глох
И офицеров брал под стражу
И уводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.
По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони, увидев рейд.

«Эх, — простонал, — подвели, каналы!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.
С суши, в порыве низкопоклонства,
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.
Всё закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

9

Был выпренен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «Терца»
Икру.

Мгновенный взрыв котельной,
Далекий крик с байдар,
И — под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой.
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Всё отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят.

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье Святка,
Лучше задержим бег Рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Всё позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, что помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее получения был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь — означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Братсья и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутатий,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, всё. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что, бишь, еще?
Да, а насчет севастопольской бойни —
В старых газетах полный отчет».

2

Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает и — к выходу, на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас, не шумите...
Нельзя же до полуночи!» И разом в лязг и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит по лесу, по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотась к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок платка.
Вы догадались, кто она. — Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепление.
Он весь из камня острого, и — чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость — тезка
(Очаков — крестный дедушка повстанца-корабля)
Таит, по злой иронии, звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибоем отдела.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет ни малейших средств.
До Ромен не доехать ей. Не скрыться от мороки.
Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешою к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистей объятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни.
И будет день посредственный, и разговор в передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг последний,
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3

Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какою неохотой пароход
Стал подымать в ту непогоду сходни!
И утренней картины не забыть.
В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина.

Потом вдали из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт». —
И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевков,
Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, стоновились тверже,
И вдруг, застлав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако, как свежо Очаков дан у Данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака...
Всё это так, но он дорогой к коменданту
В отличие от нее имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
«Я — confidentка Шмидта? Я — его дневник?
Я — крик его души из номеров Ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке, ни в родстве?» —
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.

Но это всё затмил прием у генерала.
Индюшечий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
И снег махоркой жег больные глотки луж.

Уездная глушь захолустья.
 Распев петухов по утрам
 И холостящий устье
 Весенний флюс Днепра.
 Таким дрянным городишкой
 Очаков во плоти
 Встает, как смерть, притихши
 У шмидтовцев на пути.

Похоже с лент матросских
 Сошедши без следа,
 Он стал землей в отместку
 И местом для суда.
 Две крепости, два погоста
 Да горсточка халуп,
 Свиной и галок вдосталь
 И офицерский клуб.

Без преувеличенья
 Ты слышишь в эту тишь,
 Как хлопаются тени
 С пригретых солнцем крыш.
 И звякнет ли шпорами ротмистр,
 Прослякотит ли солдат,
 В следах их — соли подмесь.
 Вся отмель, точно в сельдях.

О, суши воздух ковкий,
 Земли горячий фарш!
 «Караул, в винтовки!
 Партия, шагом марш!»
 И, вбок косясь на приезжих,
 Особым скоком сорок
 Сторонится побережье
 По их пути в острог.

О, воздух после трюма,
 И высадки триумф!

Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты
И кони, и конвой.

Прошли, — и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина.
Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.

6

Над Очаковым пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, к горсти горсть
Хлынул шумным увереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.

А немного погода,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всею тучей
Водяной бурдюк дождя.

Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь — туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому.

Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.
Хлопнуть в плоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.

Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег.
И седое небо, низясь,
Сыплет пригоршнями известь.
Это зимний катехизис
Шепчут хлопья в полусне.

И, шипя, кружит крупа
По небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.

Пусть тоща, как щепя, —
Вязь цветочного шипа.
Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шалолая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

И, долбя и колупая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон Великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья
Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Всё живое беззаконье,
Вся душевная бурда

Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собрание?
Казню звали в те года
Переправу к Березани.
Современность просит дани:
Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтение, чтение, чтение, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтение, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами — будет день —
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтение,
Чтение, чтение без конца и пауз.

Версты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать!

Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!
Утки — крякать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спехтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

8

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.
Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тапы и пояса,
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки,
Заполз под волоса.

И, точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораэта штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,

И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, — мученики догмата,
Вы тоже — жертва века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

Едва народ по-новому
Сознал конец опеки,
Его от прав дарованных
Поволокли в аптеки.

Всё было вновь отобрано.
Так вечно, пункт за пунктом,
Намереньями добрыми
Доводят нас до бунта.

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Поставленный у пропасти
Слепою властью буквы,
Я не узнаю робости,
И не смутится дух мой.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

9

Двум из осужденных, а всех их было четверо, —
Думалось еще — из четырех двоим,
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
Быть в тот миг могло, примерно, два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг, —
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настезь, и точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыбался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, колясь о сноп лучей,
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!» —
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

III, 1926 - III, 1927.

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Стихи разных лет

I. НАЧАЛЬНАЯ ПОРА. 1912-1914

Николаю Асееву

**
*

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд.
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще черней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1913.

**
*

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную между,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

**
*

Сегодня мы исполним грусть его: —
Так, верно, встречи обо мне сказали.
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.

Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.

И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.

**
*

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет под пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

С О Н

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущим бегущих по небу берез.

1913-1928.

**
*

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печального стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

**
*

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

**
*

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот, сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток.
Пример преподадан, — ваш черед.

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.

В О К З А Л

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость.
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

1913-1928.

В Е Н Е Ц И Я

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1914-1928.

З И М А

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет — к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит, в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыкает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913-1928.

П И Р Ы

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь,
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ.
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей — тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть — застолицы наших трапез.
И тихую зарей — верхи деревьев горят —
В сухарнице, как мышь, копаются анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
А Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош — и на своих двоих.

**
*

Встав из грохочущего ромба
Передраассветных площадей,
Напев мой опечатан plombой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.

Он весь во мгле и весь — подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объяснение скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем, ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.

З И М Н Я Я Н О Ч Ь

Не поправить дня усилиями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развиллин
Взмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

1913-1928.

II. ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ. 1914-1916

Владимиру Маяковскому

Д В О Р

Мелко исписанный инеем двор!
Ты — точно приговор к ссылке,
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валяются, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кучам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назад,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный — как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка сналету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!»

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие¹ тьме полыханьем огней!
Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах — студеной моей,
Их откровений — темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на воцеленных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба — свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».

ДУРНОЙ СОН

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,
Прислушайся к голой побежке бесснежья.
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Полями, по воздуху, сквозь окоlesiцу,
Приснившуюся небесному постнику.

¹ Крепкий кому — подвластный, обязанный данью или податью.
Примеч. автора.

Он видит: попадали зубы из челюсти,
И шамкают замки, поместия с прищептом,
Все вышиблено, ни единого в целости,
И постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назем огородника,
Всю землю сравнивали с землей на Стоходе.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, — месяц небесный,
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной напроць отстреленной.
Его отожгло, как отеющую тыкву.
Он прыгнул с гряды за ограду. Он в рытвине.
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя,
Слова гололедицы, мглы и лафетов?

И сказка ползет, и клочки околесицы,
Мелькая бинтами в желтке ксероформа,

Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.

Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится небесному постнику...

1914.

П Р Е Д Ч У В С Т В И Е

Камень мыло унынье,
Всхлипывал санный ком,
Гнил был линючий иней,
Снег был с полным дуплом.

Шаркало. Оттепель, харкая,
Ощипывала фонарь,
Как куропатку кухарка,
И город был, как глухарь.

Если сползались сани
И расползались врозь,
Это в тумане фазаньим
Перьям его ползлось,

Да, это им хотелось
Под облака, под стать —
Их разрыхленному телу
Черное — небу постлать.

В О З М О Ж Н О С Т Ь

В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах — ни единой вывески.
Солидные предприятия, но улица — из снов ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.

Суконщики, С.Я., то есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.

К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!

ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ

(Отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.

Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящею паклею
Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму —
Видимо-невидимо.

.....

Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы... И с них,
С их глухоты — с их захолустья,
Завязывалась ночь портних

(Иных и настоящих), прачек,
И спертых воплей караул,
Когда — с Канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Середь двора; когда посул
Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лисиц
На лед оконных переплетов
И часто на плечи жилиц.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, — счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас все вокруг,
Что все — таинственность, испуг,
И сокровенье, — и что там,
На старом месте старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавших небес.

Стояли тучи под ружьем
И как в казармах батальоны,
Команду ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.

Любила снег ласкать пальба,
И улицы, обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость, — неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестигались снежным слоем
И вечной памятью героям.
Стоял декабрь. Ряды окон,
Неосвященных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.

1913.

П Е Т Е Р Б У Р Г

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенья владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамоч
Надеты таежные топи.

1915.

—

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

1915.

—

Чертежный рейсфедер
Всадника Медного
От всадника — ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не удержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем, как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

1915-1928

ЗИМНЕЕ НЕБО

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там — все равно
Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, — лавой
Дух захватившего льда налиты.

ДУША

О, вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему — тень без особых примет.

О, — в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.



Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два,
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.

И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал Ты есть земную соль?

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалящую полночью площадь,
В сплывшую белую бездну
Незримою ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спай
Ее поцелуев — «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он, — этот мой голос, — на черствой
Узде выплывает из мути...

М Е Т Е Л Ь

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то, я сбился с дороги,
— Не тот это город, и полночь не та.

1915.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За́ город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено велятся в руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес! —
Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
Уюта! — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на́ ноги
Подонки творенья, метели — сполáгоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За́ город, за́ город!

1915-1928.

УРАЛ В ПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

1915.

ЛЕДОХОД

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит пловучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лягг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916-1928.

**
*

Я понял жизни цель и что
Ту цель, как цель, и эта цель —
Признать, что мне неволю
Мириться с тем, что есть апрель.

Что дни — кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капли, от слезы
И от поста болят виски.

В Е С Н А

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
К реке на прорубь. В городе
Обломки льда, как чайки,
Плывут и врут с три короба.

Земля, земля волнуется,
И под мостов пролеты
Затопленные улицы
Сливают нечистоты.

По ним плывут, как спички,
Сквозь холод ледохода
Сады и электрички
И не находят броду.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех,
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам, —
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы cedят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, —
В светлоголубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом

Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

И В А К А

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня — паросль.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя было и выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

С Т Р И Ж И

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о, торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, —
Смотрите, смотрите — нет места земле
От края небес до оврага.

С Ч А С Т Ь Е

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанью, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц, по смутьи ненастья,
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клест
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.

1915.

Э Х О

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь,
Из песни ли в песню ли льется.

Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.

И если березовых куп
Безвóзгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью.

И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.

Т Р И В А Р И А Н Т А

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное щелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот,
И лес шелушится, и каплями
Роняет струящийся пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури — походь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив и листья дуба,
И следы у водополя.

И Ю Л Ь С К А Я Г Р О З А

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дуря,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала все опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня — под град.
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатаься с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это не надолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915-1928.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. — И птиц из породы люблювас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые черные крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915.

БАЛЛАДА

Бывает курьером, на борзом
Расскачется сердце, и точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей — топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо
И штемпеля вlepлял,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заужиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи
Движенье: — лакей со свечой в колпаке.
Мельчая, коптят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Мокает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об раут галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятиричной оправой
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крюками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы
Отвечу: путь мой был тернист.

Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.

А зимы другую основу
Сновали, и вот, в этом крошеве
Я — черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.

Я — пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я —
Плодовая падаля, отдавшая саду
Все счета по службе, всю сладость и яды,
Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я — мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.

Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.

Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,
Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унести.

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,
Пускались снова без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,
И музыкой — зеркалом исчезновенья
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль, и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был, как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти была вода.

Потом начиналась работа граверов,
И черви, разделав сырье под орех,
Вгрызались в сознание гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею машиной
На август напарывались деревья,
И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.
Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшной из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронести мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
Я трачу в глупых разговорах
Всё, что дорогой приберег.

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и Мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда Он лишь меньшей из взрослых
И сверстник сердца моего.

1916-1928.

М Е Л Ь Н И Ц Ы

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пес обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Слезятся щетки первых жнивьев,
И кукурузные стволы
Сопят и ищутся, завшивев.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочки начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек, шевеленье,

Как губы, — шепчут; как руки, — вяжут;
Как вздох, — невнятны; как кисти, — дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам — свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубках, висят на горбах,
Рубахи из луба, порты — короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегает и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охапками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтобы бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

1915.

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был, как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя-кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби, Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде Камских вод — звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрчком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был, как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани
И городские фонари.

1915.

ИЗ ПОЭМЫ

(Два отрывка)

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статья. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабы от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От веку положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.
Попрежнему давнее кажется давешним.
Попрежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916-1928.

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, — полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь — бледность копий.
Там всё в крови, здесь крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женевскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин — арак, а горожанок —
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, Бога ради,
О, Бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота,
И только с ней и до утра с ней,
Ты отчуждением облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкroppив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

1916.

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот — мне отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значении своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Бульжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.

Но как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разревется.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок,
Предгрозые играло бровями кустарника,
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты —
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все — живо. И все это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, —
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется — спасут.
Рассудок? Но он — как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1915-1928[-1956]

III. СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Д Р У Г У

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Во век не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

1931.

А Н Н Е А Х М А Т О В О Й

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу перевозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слогe.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали Ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер, и колышет веки
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупницы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

1928.

М. Ц.

Ты вправо, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне всё равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на меринесе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне всё равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне всё равно какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов;
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф, —
Горит такого-то эпоха.

1928.

М Е Й Е Р Х О Л Ь Д А М

Жолоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок,
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгратись,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тёр.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,

За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928.

П Р О С Т Р А Н С Т В О

Н. Н. Вильям-Вильмонт

К ногам прилипает наждак.
Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отливает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, —
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колея непроезжих
Пятнистые пятаки
Лиловых, как лес, сыроежек!

И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб.
И знаясь не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске о стекле и цементе.

Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, — и где перечеть
Московского съезда соблазны,
Ненастий горящую шерсть,
Заманчивость мглы непролазной?

Там город, — и ты посмотри,
Как ночью горит он багрово.
Он былью одной изнутри,
Как плоскою, иллюминирован.

Он каменным чудом облег,
Рожденья стучащий подарок.
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

1927.

БАЛЪЗАК

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

Жара покрыла лошадей
И шелканье бичей глазурию
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

Беспечно мчатся тильбюри.
Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Почти как тополь, лопоух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Зауспокойную обедню.

Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.

Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгинуть задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,

И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией — старик-бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщицкой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?

1927.

БАБОЧКА - БУРЯ

Бывалый гул былой Мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам — и ни-гугу.

Он снится мне за массой действий.
В рядах до крыш горящих сумм,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.

Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтамт.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам тклет кокон.

Тогда-то, сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.

1923.

О Т П Л Ы Т И Е

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледнорозовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, — но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

Финский залив. 1922.

**
*

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, всё кончено! Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928.

П Е Т У Х И

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликаая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви — всему, всему.

1923.

Л А Н Д Ы Ш И

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
Весь сумрак ночи сообща
Их разбирает на перчатки.

1927.

СИРЕНЬ

Положим — гудение улья,
И сад утопает в стряпне.
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах —
Седая сирень расцвела!

Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты;
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, —
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

1927.

Л Ю Б К А

В. В. Гольцеву

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелен блесной,
Вода забилась в уши царских свечек.

Взлелеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют по-одиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в Иван-да-Марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет всё:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

1927.

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, цыновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху,
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! Весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

1923.

ПАМЯТИ РЕЙСНЕР

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди,

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе всё упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из вас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

1926.

П Р И Б Л И Ж Е Н И Е Г Р О З Ы

Я. З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города — и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатаешь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты — до шведа,
И холод въедет в аръергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

1927.

IV. ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Жене

Г О Р О Д

Уже за́ версту,
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пёресыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, — каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

Навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелетном клину пустырей.
Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И — за поезд
Во весь карьер.

Это вещице ветки,
Божась чердаками,
Вылетают на тучу.
Это черной божбою
Бьется пригород Тьмутараканью в падуцей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дворец, и рам
О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забывтья с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль —
От распросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обируют убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скорб на возах. Всюду дождь. Всюду
скорбь.
Это — наш городской гороскоп.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенную свист замутив,
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
На двоих насакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Громом дрожек с аркады вокзала,
На краю заповедных рош,
Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь,

Фонарями, — и сказ свой ширишь
О страдалице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собою сожгла.

Я опасуюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены — с тенью Мопассана,

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Honni soit qui mal y pense.
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях — алая прохлада.
Пушатся уши и жакет.
Перчатки — пара шоколадок.

В коленях — шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

Где горизонт, как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь, бегут бегом
Свистки, и тучи, и вагоны.

1916-1928.

ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ

(Зачаток романа «Спекторский»)

Графленая в линейку десь!
Вглядись в ту сторону, откуда
Нахлынуло всё то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.

Отрапортуй на том смотрю.
Ударь хлопушкой округи.
Будь, точно роща на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.

Как разом выросшая рысь,
Всмотрись во всё, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотрись.

Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна.
Я только ей не надоем.

Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею вязывался в грех.

По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов?

Я жил в те дни, когда на плоской
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам,
И вечер к славе подстрекал.

Когда, нацелившись на взрослых,
Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль,
Уже рябили ружья в козлах
И пухла крупповская сталь.

По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы.
Нежданно ветер ставит воротник,
И улица запахивает шубу.
Представьте дом, где, пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.
А рядом, в шапке крапчатой, декабрь
Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата.
В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как салоп на вате.
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате.
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь.
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись.

Профессор старше галок и дерёв.
Он пепельницу порет папирсой.
Что в том ему, что этот гость здоров? —
Не суйся в дом без вызова и спросу.
На нем манишка и сюртук до пят,
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно не попад:
«Не нервничать и избегать излишеств».
А после — в вопль: «Я, право, утомлен!
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души».

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданных бессонницей брандспойтов.

Туман на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чащам самовар
Лучинами зари и каланчами.
Вся в копоти, с чугунной гирей мги
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища.

.

1925.

УРАЛЬСКИЕ СТИХИ

1. Станция

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.

В час его прохода столь
На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,
Как на блеск глазури блюдной.

Ад кромешный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темячек в дыму
Кружев, гребней и булавок.

Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача,
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.

А меж тем наперекор
Черным каплям пота в скопе,
Этой станции средь гор
Не к лицу названье «Копи».

Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Инородцы),
Но и в жар она — свежа,
Будто только от колодца.

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личик? —
Мысль, что кажутся Хребту
Горкой крашенных яичек.

Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то.

Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?

Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам.
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.

Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурей лица,
Клиньями столетних елей.

1919.

2. Рудник

Косую тень зари роднит
С косою тенью спин Продольный
Великокняжеский Рудник
И лес теней у входа в штольню,

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,
Он обдает тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, снуя,
Как знаки восклицанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяют шаг
От царства угля — царства трупя.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
Пахнет руда, дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неопишем!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.

Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.

Огарки, — а светлей костров
Вблизи, — а чудится, верст за пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.

Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышит ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.

Ведь так легко пропасть, застряв,
Когда, лизнув пистон патрона,
Прольется, грянувши, затрав
По недрам гулко, похоронно.

А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый, — слова нет —
Расплавленные капли, хлопья.

В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль! — Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

Как будто ты воскрес, как те —
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.

1919.

МАТРОС В МОСКВЕ

Я увидел его, лишь только
С прудов зиме
Мигнул каток шестом флагштока
И сник во тьме.

Был чист каток, и шест был шаток,
И у перил,
У растарашенных рогаток,
Он закурил.

Был юн матрос, а ветер — юрок:
Напал и сгреб,
И вырвал, и задул окурочок,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нем сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух.

Как право дуть из всех отверстий,
Сквозь все — колоть,
Как ночь, сидел костюм из шерсти
Мешком, не вплоть.

И эта шерсть, и шаг неверный,
И брюк покрой
Трактором пахли на Галерной,
Песком, икрой.

Москва казалась сортом щепня,
Который шел
В размол, на слом, в пучину гребней,
На новый мол.

Был ветер пьян, — и обдал дрожью:
С вина — буян.
Взглянул матрос (матрос был тоже,
Как ветер, пьян).

Угольный дом напомнил чем-то
Пловучий дом:
За шапкой, вея, дыбил ленты
Морской фантом.

За ним шаталось, якорь с цепью
Ища в дыре,
Соленое великолепье
Бортов и рей.

Огромный бриг, громадой торса
Здрав бока,
Всползая и сползая, терся
Об облака.

Москва в огнях играла, мерзла,
Роился шум,

А бриг вздыхал, и штевень ерзал,
И ахал трюм.

Матрос взлетал и ник, колышим,
Смешав в одно
Морскую низость с самым высшим,
С звездами — дно.

Как зверски рывкать надо клетке
Такой грудной!
Но недоразуменья редки
У них с волной.

Со стеньг, с гирлянды поднебесий,
Почти с планет
Горланит пене, перевесясь:
«Сегодня нет!»

В разгоне свищущих трансмиссий,
Едва упав
За мыс, кипит опять на мысе
Седой рукав.

И вот, на воющем заводе
Сирен, валов,
Огней и поршней полноводья
Не тратят слов.

Но в адском лязге передачи
Тоски морской,
Стоят, в карманы руки пряча,
Как в мастерской,

Чтоб фразе рук не оторвало
И первых слов
Ремнями хлещущего шквала
Не унесло.

1919.

9 - е Я Н В А Р Я
(Первоначальный вариант)

Какая дальность расстоянья!
В одной из городских квартир
В столовой — речь о Ляояне,
А в детской — тушь и транспортир.

Январь, и это год Цусимы,
И, верно, я латынь зубрю,
И время в хлопьях мчится мимо
По старому календарю.

Густеют хлопья, тают слухи,
Густеют слухи, тает снег.
Выходят книжки в новом духе,
А в старом возбуждают смех.

И вот, уроков не доделав,
Я сплю, и где-то в тот же час
Толпой стоят в дверях отделов,
И время старит, мимо мчась.

И так велик наплыв рабочих,
Что в зал впускают в два ряда.
Их предостерегают с бочек. —
Нет, им не причинят вреда.

Толпящиеся ждут Гапона.
Весь день он нынче сам не свой:
Их челобитная законна, —
Он им клянется головой.

Неужто ж он их тащит в омут?
В ту ночь, как голос их забот,
Он слышен из соседних комнат
До отдаленнейших слобод.

Крепчает ветер, крепнет стужа,
Пар так и валит изо рта.
Дух вырывается наружу
В столетье, в ночь, за ворота.

* * *

Когда рассвет столичный хаос
Окинул взглядом торжества,
Уже, мотая что-то на ус,
Похаживали пристава.

Невыспавшееся событие,
Как провод, в воздухе вися,
Обледенелой красной нитью
Опутывало всех и вся.

Оно рвалось от ружей в козлах,
От войск и воинских затей
В объяття любящих и взрослых,
И пестовало их детей.

Еще пороли дичь проспекты,
И только-только рассвело,
Как уж оно в живую секту
Толпу с окраиной слило.

Еще голов не обнажили,
Когда предместье лесом труб
Сошлось, звеня, как сухожилье,
За головами этих групп.

Был день для них благоприятен,
И снег кругом горел и мерз
Артериями сонных пятен
И солнечным сплетеньем верст.

Когда же тронулись с заставы,
Достигши тысяч десяти,
Скрещенья улиц, как суставы,
Зашевелились по пути.

Их пенье оставляло пену
В ложбине каждого двора,
Сдвигало вывески и стены,
Перемещало номера.

И гимн гремел всего хвалебней,
И пели даже старики,
Когда передовому гребню
Открылась ширь другой реки.

Когда: — «Да что там?» — рывкнул голос,
И что-то отрубил другой,
И звук упал в пустую полость,
И выси выгнулись дугой.

Когда в тиши речной таможни,
В морозной тишине земли
Сухой, опешившей, порожней —
Лишь слышалось, как сзади шли.

Ро-та! — взвилось мечом Дамокла,
И стекла уши обрели:
Рвануло, отдало и смолкло,
И миг спустя упало: пли!

И вновь на набережной стекла,
Глотая воздух, напряглись.
Рвануло, отдало и смолкло,
И вновь насторожилась близь.

Толпу порол ружейный ужас,
Как свежее-выбеленный холст.
И выводок кровавых лужиц
У ног, не обнаружась, полз.

Рвало, и множилось, и молкло,
И камни — их и впрямь рвало
Горячими комками свеклы —
Хлестали холодом стекло.

И в третий раз притихли выси,
И в этот раз над спячкой барж
Взвилось мечом Дамокла: — Рысью!
И лишь спустя мгновенье: марш!

1925.

К ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черед.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.

Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.

Бессрочно и тысячеверстно
Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.
Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
Обширней еще, чем допрежь.

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв новобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могло ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2

Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня —
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов.
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии, — плеск
Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит
Во все запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целяют под кипой

Событий и прахом попыток
Уйти из киргизской степи.

Но тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи, —
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем самуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень, как шерсть, —
На лестницах министерств.
Одинокий, как перст, —
Таков Петроград,
Еще с Государственной Думы
Ночами и днями кочующий в чумах
И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.

Он всё еще не искупил
Провинностей скипетра и ошибок
Противного стереотипа,
И сослан на взморье, топить, как Сизиф,
Утопии по затонам,
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.

И осень подходит с обычной рутинной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настигает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Натравливает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протаскив по всей квартире,
Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев —
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду — жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовета,
Вперенных в неизвестный строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках — метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли.

1925.

V. БЕЛЫЕ СТИХИ

Е. А. Дородновой

*И в этот миг в мозгу прошли все мысли
Единственные, нужные. Прошли
И умерли . . .*

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал, —
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. — Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ты взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел все то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно». —
Блистают бляхи спавших сторожей
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драло
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было Богу доказать,
Что Ганская — одна, как он задумал...» —
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. — «Что Ганская — одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть». — Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как празден дух прошедшего без сна
Такую ночь! Как голубо пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!

Он вспомнил всех. — Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре
Он заключил, что ветка — над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще. — Он вспомнил всех. —
О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Приличною не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг

Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. — Вошли и вышли.
По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощажённых тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает.
Что это не названия картин,
Не сцены, но — разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москотильной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик,
И иногда рисует lune de miel
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья — бешеный кошмар,
Обломком бреда — светлое блаженство.
В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, — кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
О зелени. Но март их понимал,
И всем трубил про молодость и свежесть.

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, млечный путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. — Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Несли стога и со стогами — ночь.

На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листве. — Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах —
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это — то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы...

1918.

VI. ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Анастасии Цветаевой

Мелькает движущийся ребус.
Идет осада, идут дни,
Проходят месяца и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, — идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, — всё — в тени.
Рождается троянский эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, — идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык?
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.
Всё это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны,
А как натянут этот слух —
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами пряхь,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками метались мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
Уж ты и спишь, и смерти ждешь,
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калаш
Припутанную к правде ложь
Глощает платяная вошь
И пряхь ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А ветер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли смотрел остолбенело,

Как смерть, как тишина кладбищ,
Как та особенная тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что всё по-прежнему на свете, —
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клетот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был скучней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

И полз голодною глистой
С второго этажа на третий,
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.
Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
В уединенье усыпальниц,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк,
И снег соперничал в усердии
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубаш,
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Нельзя три раза, егозя,
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово «враг».
Гошу. — Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Мы были музыкаю чашек,
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, — и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкаю мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.

Но я видал Девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств,
Пошел, взволнованный донельзя,
К театру с пропуском в оркестр.
Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.

С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,
Не сам собою, но в ответ

На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цементу крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнувших глазах творца,
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей,
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарства ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, — вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы

В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожевский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск, —
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псари.
Бряцанье шпор ходило горбясь.
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под Порховым в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со дна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал!

Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был, как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб

Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лужги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всём,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
Какое скрытое сцепленье
Соединяет с годом год!
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923-1928.

СПЕКТОРСКИЙ

Были здесь ворота...
Пушкин. Медный Всадник.

В С Т У П Л Е Н Ь Е

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотечаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флёр невзгод,
Косясь на комья светлосерой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор,
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно всё, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.

Все как один, всяк за десятерых
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На Рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцаньи плоски погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в дальность
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1

Весь день я спал и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.

Сегодня ж ночью теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел до тла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.

Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег как на зло рыж.
И любо ж, верно, крякать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!

Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.

Как едется в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?

Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.

Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четырем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!

Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушину трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде и ветру, и огню.

Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.

Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.

И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.

Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.

Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,

Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.

В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.

«Ну, и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к льду, и без них доеду,
А не найду извозчика — дойду».

В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.

* * *

Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду,

Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит,

Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крющон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки,
И плыл в ветвях, от дола отрешен.

Посеребрённых ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей.

И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.

Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к Рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

Был день, Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток — она сама.

И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней, —
Тем ближе срок, и это дело дней.

Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.

И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.

Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,

Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.

А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила,
И жили люди, не снимая шуб.

Забывтый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на Рождестве.

В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседилось извне.
Решили Новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.

Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.

Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.

Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими спрыснуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.

Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.

Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.

Не торговались — спьяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.

Был снег волнист, окольный путь — извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.

«Не слышу. — Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб в потьмах...» Толчок,
Другой и третий, — и конец обоза
Влетает в лес, как рыбаку в сачок.

«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. — «Ну, как?» — «А мы на парных».
«А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.

Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребывания здесь.

Дверь врезалась в сугроб на поларшина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка,

И обступила тьма. А ну, как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самым перилам кравшихся широт.

В ту ночь еще ребенок годовалый
За полную неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?»

Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Все порывалось за его предел.

Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.

Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт, черт знает чем, испортив,
И фыркали, салат пересолив.

Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, — шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:

Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться обземе головой.

Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немы,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С Новым годом!»
И гранных дюжин громовой салют.

«О, мальчик мой, и ты, как все, забудешь,
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнею ночью утоплю.

Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.

Шепчу? — Нет, нет. — С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, — вишневки чернота.
Карениной, — так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибой, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.

И год не нов. Другой новой обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.

Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,

И все стихает. Точно топот, рухнув
За кухню, попал в провал, в Мальстрем,
В века... — Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.

С утра на завтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.

По талой каше шлепают калошки.
У поля все смешалось в голове.
И облака, как крашенные ложки
Крутятся, плывут в вареной синеве.

На пятый день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогоднею попойкой
И оттого-то пляшет барометр.

И так как шутка не совсем понятна
И вокруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.

«Для бодрости ты б малость подхлестнул.
 Похоже, жаркий будет день, разведрясь».
 Чихает цинк, ручьи сочат весну,
 Шуруя снег, бушует левый подрез.

Струится грязь, ручьи на все лады,
 Хваля весну, разворковались в голос,
 И, выдирая полость из воды,
 Стучит, скача по камню, правый полоз.

При въезде в переулочек он на миг
 Припомнит утро въезда к генеральше.
 Приятно будет, показав язык
 Своей норе, проехать фертом дальше.

Но что за притча! Пред его дверьми
 Слезает с санок дама с чемоданом.
 И эта дама — «Стой же, черт, возьми!
 Наташа, ты?.. Негаданно, неожиданно?..

Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
 Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго?
 Оставь, пустое, взволочу и сам.
 Толкай смелей, она у нас заволгла.

Да, резонанс ужасный. Это в сад.
 А хоть и спят? Ну, что ж, давай потише.
 Как не писать, писал дня три назад.
 Признаться, и они не чаще пишут.

Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
 Чего ты смотришь?» — «Боже, сколько пыли!
 Разгром! Что где? На всех вещах вуаль.
 Скажи, тут верно год полов не мыли?»

Когда он в сумерки открыл глаза,
 Не сразу он узнал свою берлогу.

Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.

Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.

Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сенник,
Внизу на кухне гроыхнули блоком.

Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.

Не сдобровать забывшемуся сном
При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день — хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.

Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.
Но это перемирие прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.

Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час неоцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.

Вам дико всё. Призвание, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда б оно на нас не обижалось.

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головоймойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.

Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки просыхали, как дерюга.
Клубясь бульварным рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.

И той же ночью с часа на второй,
Вооружась «Громокипящим Кубком»,
Последний сон проспори́л брат с сестрой.
Теперь они носились по покупкам.

Хвосты у касс, расчеты и чай
Влияли мало на Наташин норев,
И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.

Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.

От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты Мерилиза.

«Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, дай и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты — молод, это плюс,
А твой отрыв от поколенья — минус.

Ты вне исканий, к моему стыду.
В каком ты стане? Кстати, как неловко,

Что за отъездом я не попаду
С товарищами Паши на маевку.

Ты возразишь, что я неглубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка,
И только всех обманывает внешность?»

«Оставим спор, Наташа. Я неправ?
Ты праведница? Ну, и на здоровье.
Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровой».

Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.

На Земляном Валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из Фета.
Что и земля, как клумба, и кругла, —
Поют судки вокзального буфета.

Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процесии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.
И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.

Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытие огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.

Потом перрон и град шагов и фраз,
И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?»
И у окна: «Итак, в последний раз.
Ступай. Мы больше ничего не выжмем».

И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Язу
И осыпает просеки золой
И пилит лес сипеньем вестингауза.

И дочищает вырубки сплеча,
И, разлетаясь всё неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначения.

С вокзала возвращаются с трудом,
Брезгливую улыбку пересилия.
О город, город, жалкий скопидом,
Что ты собрал на льне и керосине?

Что перенял ты от былых господ?
Большой ли капитал тобою нажит?
Бегущий к паровозу небосвод
Содержит всё, что сказано и скажут.

Ты каторгой купил себе уют
И путаешься в собственных расчетах,
А по предместьям это сознают
И в пригородах вечно ждут чего-то.

Догадки эти вовсе не кивок
В твой огород, ревнивый теоретик.
Предвестий политических тревог
Довольно мало в ожиданиях этих.

Но эти вещи в нравах слобожан,
Где кругозор свободнее гораздо,
И, городской рубеж перебежав,
Гуляет рощ зеленая зараза.

Природа ж — ненадежный элемент.
Ее вовек оседло не поселишь.
Она всем телом алчет перемен,
И вся цветет из дружной жажды зрелищ.

Всё это постигаешь у застав,
Где с фонарями в выкаченном чреве
За зданья задевают поезда
И рельсами беременны деревья;

Где нет мотивов и перипетий,
Но, аппетитно выпятив цилиндры,
Паровичок на стрелке кипит
Туман лугов, как молоко с селитрой.

Всё это постигаешь у застав,
Где вещи рыщут в растворенном виде.
В таком флюиде встретил их состав
И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя.

Заря вела его на поводу,
И, жаркой лайкой стягивая тело,
На деле подтверждала правоту
Его судьбы, сложенья и удела.

Он жмурился и чувствовал на лбу
Игру той самой замши и шагрени,
Которой небо кутало толпу
И сутолоку мостовой игреней.

Затянутый всё в тот же желтый жар
Горячей кожи, надушенной амброй,
Пылил и плыл заштатный тротуар,
Раздувши ставни, парные, как жабры.

Но по садам тягучий матерьял
Преображался, породнясь с листвою,
И одухотворялся и терял
Всё, что на гулкой мостовой усвоил,

Где средь травы, тайком, наедине,
Дорожку к дому огненно наохрив,
Вечерний сплав смертельно леденел,
Как будто солнце ставили на погреб.

И мрак бросался в головы колонн,
Но крупнолистый, жесткий и тверёзый,
Пивным стеклом играл зеленый клен,
И ветер пену сбрасывал с березы.

5

Едва вагона выгнутая дверь
Захлопнулась за сестриной персоной,
Действительность, как выпавшийся зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок.

Она не выносила пустомель,
И только ей вернули старый навик, —
Вздохнула вслух, как дышит карамель
В крахмальной тьме колониальных лавок.

Учуяв нюхом эту москатель,
Голодный город вышел из берлоги,
Мотнул хвостом, зевнул и раскатил
Тележный гул семи холмов отлогих.

Тоска убийств, насилий и бессудств
Ударила песком по рту фортуны
И сжала крик, теснившийся из уст
Красноречивой некогда вертуни.

И так как ей ничто не шло в башку,
То не судьба, а первое пустое
Несчастье приготовилось к прыжку,
Запасшись склянкой с серной кислотой.

Вот тут сразбега он и налетел
На Сашку Бальца. Всей сквозной округой.
Всей тьмой. На полусон. На полутень,
На что-то вроде рока. Вроде друга.

Всей световой натугой — на портал,
Всей лайкою упругой — на деревья,
Где Бальц, как перст перчаточный торчал.
А говорили, — болен и в Женеве.

И точно на́ зло он его стерег
Намеренно под тем дверным навесом,
Куда Сережу ждали на урок
К отчаянному одному балбесу.

Но выяснилось, — им в один подъезд,
Где наверху в придачу к прошлым тещам
У Бальца оказался новый тесть,
Одной из жен пресимпатичный отчим.

Там помещался новый Бальцев штаб.
Но у порога кончилась морока,
И, пятась из приятелевых лап,
Сергей поклялся забежать с урока.

Смешная частность. Сашка был мастак
По части записного словоблудья.
Он ждал гостей и о своих гостях
Таинственно заметил: «Будут люди».

Услышав сей внушительный посул,
Сергей представил некоторой Меккой
Эффектный дом, где каждый венский стул
Готов к пришествию сверхчеловека.

Смеясь в душе, «Приступим, — возгласил,
Входя, Сережа. — Как делишки, Миша?»
И, сдерживаясь из последних сил,
Уселся в кресло у оконной ниши.

«Не странно ли, что всё еще висит
И дуется и сесть не может солнце?»
Обдумывая будущий визит,
Не вслушивался он в слова питомца.

Из окон открывался чудный вид,
Обитый темнозолотистой кожей.
Диван был тоже кожей обит.
«Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Он не любил семьи ученика.
Их здравый смысл был тяжелей увечья,
А путь прямой и проще тупика.
Читали «Кнут», выписывали «Вече».

Кобылкины старались корчить злюк,
Но даже голосов свирепый холод
Всегда сбивался на плаксивый звук,
Как если кто задет или уколот.

Особенно заметно у самой
Страдальчества растравленная рана
Изобличалась музыкой прямой
Богатого гаремного сопрано.

Не меньшею загадкой был и он,
Невежда с правоведческим дипломом,
Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок.

В чаду мытарств угасшая душа,
Соединял он в духе дел тогдашних
Образованье с маской ингуша
И умудрялся рассуждать, как стражник.

Но в целом мире не было людей
Забитее при всей наружной спеси,
И участи забытей и лютей,
Чем в этой цитадели мракобесья.

Урчали краны порчею аорт,
Ругалась, фартук подвернув, кухарка,
И весь в рассрочку созданный комфорт
Грозил сумой и кровью сердца харкал.

По вечерам висячие часы
Анализом докучных тем касались,
И, как с цепей сорвавшиеся псы,
Клопы со стен на встречного бросались.

Урок кончался. Дом, как корифей,
Топтал деревьев ветхий муравейник
И кровли, к ночи ставшие кривей
И точно потерявшие равнение.

Сергей прощался. Что-то в нем росло,
Как у детей среди суесловья взрослых,
Как будто что-то плавно и без слов
Навстречу дому близилось на веслах.

Как будто это приближался вскрик,
С которым, позабыв о личной шкуре,
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.

В таких мечтах: «Ты видишь, — возгласил,
Входя, Сергей, — я не обманщик, Сашка»,
И, сдерживаясь из последних сил,
Присел к столу и пододвинул чашку.

И осмотрелся. Симпатичный тесть
Отсутствовал, но жил нельзя шикарней.
Картины, бронзу, — всё хотелось съесть,
Всё как бы в рот просилось, как в пекарне.

И вдруг в мозгу мелькнуло: «И съедят.
Не только дом, но раньше или позже

И эту ночь, и тех, что тут сидят.
Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Но мысль осталась, завязав дуэт
С тоской, что гложет поедом поэтов,
И неизвестность, точно людоед,
Окинула глазами сцену эту.

И увидала: полукруглый стол,
Цветы и фрукты, и мужчин и женщин,
И обреченья общий ореол,
И девушку с прической à la Ченчи.

И абажур, что как бы клал запрет
Вовне, откуда робкий гимназистик
Смотрел, как прочь отставленный портрет,
На дружный круг живых характеристик.

На Сашку, на Сережу, — иногда
На старшего уверенного брата,
Который сдуру взял его сюда,
Но, вероятно, уведет обратно.

Их назвали, но как-то невдомек.
Запало что-то вроде «мох» иль «лёмех».
Переспросить Сережа их не мог
Затем, что тон был взят, как в близких семьях.

Он наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста.
Во младшем крылся будущий герой.
А старший был мятежник, то есть деспот.

6

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленой,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из Бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала,
По внешности — насмешница, как он.

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст.
А, главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг.

И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок и свирепел и креп,
Отец ее, — узнал он, — был профессор,
Весной она по нем надела креп,

И множество чего, — и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.

Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшись впервые к ней, он шел
Рассеянной, чем за город, свободней,
Чем с выпуска за школьный частокол.

Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы шурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.

В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупо пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.

Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.

Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И, всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.

Многолошадный, буйный, голоштаный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.

Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауэр,
И каменщиков гнал за флигеля.

У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось, — рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.

Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щепня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь, и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте» —
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал втупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
«Ну, как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быть.

Ну, здравствуйте. Я думала — подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел — двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры — и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматьи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их когда-нибудь сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложатся, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.

Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.

Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.

Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.

Тут целовались наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мга и гам,
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.

Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.

И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.

Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью вырастал рассвет.

И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.

Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.

Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Мариин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном клякс избородила лист.

«Окно в лесах, и — две карикатуры,
Чтобы избежать даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем из показных витрин.

Мы рано, может статья, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но суть не в том. У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволие
Под кладбища, овраги и поля.

P. S. Все это требует проверки.
Не верю мыслям, — семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я, вероятно, их переменю».

7

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
Чем от предполаганья наугад.
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз

В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.

Три дня тоска, как призрак криволицый,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился.
Пошел в читальню, да и был таков.

А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи,
И что ж нашел он на дверной скобе?

Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.

Он вытер пот. По смыслу этих литер
Он — сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.

Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.

Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смог, на месте ж — потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.

Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

Многолошадный, буйный, голоштаный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется — Да, да! Она в окне!

Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг?.. О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
По лестнице без бортовых перил.

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, все ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ!

8

Прошли года. Прошли дожди событий,
Прошли, мрача Юпитера чело.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, —
Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцырь.
К пустым сараям не протоптан след.

Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижимых верениц
Москва сразмаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тѣс ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чащи
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врастяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем, что воздух родины заклят,
И половина края — люди кадра,
А погибать без торгу — их уклад.

Затем, что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на азростате,
Косое солнце смотрит натошак.

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пункте
И зерен в мере хлеба не считай.

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д'Икем?

Оно не лгнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И всё б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре.

И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде не прямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтения,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событие исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь — старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене средь мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледенелых недр.

Там на юрах кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь, ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолуствий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги
И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.

Как кратеры, дымились кольца выюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.

Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

9

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки, и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.

То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссариат.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мериллом римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.

Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант — казне.

В те дни у сыромятницких окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И раменьё убрав огнем осенним
И пламенем — брусы оконных рам,
Закат бросался к полкам и храненьям
И как бы убывал по номерам.

В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,
И люди были тверды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

И лысы голоса. И близко-близко
Над ухом, а казалось — вдалеке,
Всё спорили, как быть со штукой плиса,
И серебро ли ковш, иль аплике.

Срезали пломбы на ушках шпагата,
И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату,
Кладовщика зовя издалека.

Отрыжкой отдуваясь от отмычек,
Под крышками вздувался старый хлам,
И давность потревоженных привычек
Морозом пробегала по телам.

Но даты на квитанциях стояли,
И лиц, из странствий не подавших весть,
От срока сдачи скарба отделяли
Год-два и редко-редко пять и шесть.

Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.
Дрожала кофт заржавленная саржа,
И гнулся лифов колкий коленкор.

Амбар, где шла разборка гардеробов,
Плыл наугад, куда глаза глядят.
Как волны в море, тропы и сугробы
Тянули к рвоте, притупляя взгляд.

Но было что-то в свойствах околотка,
Что обращалось к мысли, и хотя
Держало к ней, как высланная лодка,
Но гибло, до нее не доходя.

Недоставало может быть секунды,
Чтоб вытянуться и поймать буюк,
Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой,
Душа тонула в темноте таёг.

Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В глазах, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт,
Он увидал Мариин лабиринт.

«А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Был воздух тих, но, если б веткой хрустнуть,
Он снежным вихрем бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплуснут,
Был небосвод лиловый низколоб.

Был воздух тих, как в лодке китолова,
Затерянной в тисках пловучих гор.
Но, если б хрустнуть веткою еловой,
Всё б сдвинулось и понеслось в опор.

Он думал: «Где она — сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн».
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
Под опись. В фонд. Под опись. В фонд. В подвал».
И монотонный голос, как гадалщик,
Всё что-то клал и что-то называл.

Настала ночь. Сверхштатные ликурги
Закрыли склад. Гаданья голос стих.
Поднялся вихрь. Сережины окурки
Пошли кружиться на манер шутих.

Ему какие-то совали снимки.
Событья дня не шли из головы.
Он что-то отвечал и слышал в дымке:
«Да вы взгляните только. Это вы?»

Нескромность? Обронили из альбома.
Опомнитесь: кому из нас на дню
Не строил рок подобного ж: любому
Подсунул не знакомых, так родню».

Мело, мело. Метель костры лизала,
Пигмеев сбив гигантски у огня.
Я жил тогда у Курского вокзала
И тут-то наконец его нагнал.

Я соблазнил его коробкой Иры
И затащил к себе, причем — курьез:
Он знал не хуже моего квартиру,
Где кто-то под его присмотром рос.

Он тут же мне назвал былых хозяев,
Которых я тогда же и забыл.
У нас был чад отчаянный. Оттаяв,
Всё морщилось, размокши до стропил.

При самом входе, порох зря потратив,
Он сразу облегчил свой патронташ
И рассказал про двух каких-то братьев,
Припутав к братьям наш шестой этаж.

То были дни как раз таких коллизий.
Один был учредиловец, другой —
Красногвардеец первых тех дивизий,
Что бились под Сарептой и Уфой.

Он был погублен чьею-то услугой.
Тут чей-то замешался произвол,
И кто-то вроде рока, вроде друга,
Его под пулю чешскую подвел...

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певица и смирившийся эсер.

Я знал, что эта женщина к партийцу.
Партиец приходился ей родней.
Узнав, что он не скоро возвратится,
Она уселась с книжкой в проходной.

Она читала, заслонив коптилку,
Ложась на нас наплывом круглых плеч.
Полпотолка срезала тень затылка.
Нам надо было залу пересечь.

Мы шли, как вдруг: «Спекторский, мы знакомы» —
Высокомерно раздалось нам вслед,
И, не готовый ни к чему такому,
Я затесался третьим в tête-à-tête.

Бухтеева мой шеф по всей проформе,
О чем тогда я не мечтал ничуть.
Перескажу, что помню, попроворней,
Тем более, что понял только суть.

Я помню ночь, и помню друга в краске,
И помню плоски углый фитилек.
Он изгибался, точно ход развязки
Его по глади масла ветром влек.

Мне бросилось в глаза, с какой фриволью,
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер
И в этом жесте выразилась вся.

Как, явственней, чем полный вздох двурядки,
Вздыхнул у локтя кожаный рукав,
А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки,
Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!»

Присутствие мое их не смутило.
Я заперся, но мой дверной засов
Лишь удесятерил слепую силу
Друг друга обгонявших голосов.

Был разговор о свинстве мнимых сфинксов,
О принципах и принцах, но всё
Был только темный призыв материнства
В презреньи, в ласке, в жалости, во всё.

«Вы вспомнили рождественских застольцев?.. —
Исламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. — Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?»

Он отвечал... «Но чтоб не быть уродкой, —
Рвалось в ответ, — ведь надо ж чем-то быть?»
И вслед за тем: «Я родом — патриотка.
Каким другим оружием вас добить?..»

Уже мне начинало что-то сниться
(Я, видно, спал), как зазвенел звонок.
Я выбежал, дрожа, открыть партийцу
И бросился назад, что было ног.

Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил.
И тут лишь вспомнил я о происшедшем.
Пока я спал, обоих след простыл.

1925-1930.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

I. ВОЛНЫ

Здесь будет всё: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немислим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски,
Ко мне бегут мои поступки.
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но все их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

—

Здесь будет спор живых достоинств
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс,
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум:
Одним концом — ночное Потти,
Другим — светающий Батум.

Умеющий, — так он всевидящ,
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь,
Огромный восьмиверстный пляж.

Огромный пляж из голых галек,
На все глядящий без пелен,
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.



Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.



Здесь будет дальнего обвала
Гремящий за горами гул,
И жалкий дворик постоянный,
И скалы, сакли и аул.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст за шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.



Зовите это, как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитие,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал, —
Он сам пленял, как описание,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья
И — вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных, — имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

Война не сказка об Иване,
И мы ее не золотим.
Звериный лик завоеванья
Дан Лермонтовым и Толстым.

Но в неизбежное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге,
И, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

—

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впад в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла.
Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едким натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганный заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подношьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.



Кавказ был весь, как на ладони,
И весь, как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздыхал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Незаподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Ты край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дробы
К беде родившихся ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,

Но значу только то, что трачу,
А трачу всё, что знаю я.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

Шумит прибой, и неизменно
Ложится за волной волна,
И их следы смывает пена
С песчаных куч, как письма.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языки трепать.

Ты б слушала и молодеда,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела
От переростка муравья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь,
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Октябрь, а солнце так же жгуче,
И блещут пальмы на холме,
Но выпавшего снега кучи
Напоминают о зиме.

Она вблизи, она в преддверьи,
Она в дверях. Остаток дней
Я убыль расстоянья мерю
Меж нашей участью и ей.

Следы людей в поселке стерты,
Как будто не шутя, всерьез
Последних дачников с курорта
Порыв нордоста в море снес.

Простимся с ним и побережьем,
И память сохраним о нем.
И сами вслед другим приедем
Стопы на север повернем.

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

БАЛЛАДА

Генриху Нейгаузу

Дрожат гаражи автобазы.
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы.
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду — табак, на тротуаре —
Толпа, в толпе — гуденье пчел.
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

«Пришел», — летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах матиол.
«Пришел», — летит от пары к паре,
«Пришел», — стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Удар, другой, пассаж — и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Всплывает, как больной орел.
Под ним — угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Полет орла, как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет — сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Вам в дар баллада эта, Гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел всё, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных матиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной Подол.

БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в комплоте
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотях, — кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд).

Спи, былъ. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

1930. Ирпень, август.

Л Е Т О

Ирине Сергеевне Асмус

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,

С землю — саженные тени ирпенек,
И с небом — пожар полосатых панёв.
Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.

Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытьё?
По улицам сердца из тьмы нелюдимо!
Дверь настезь. За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930.

С М Е Р Т Ь П О Э Т А

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроаясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьях трусов и трусих.

1930.

**
*

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой взалех,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют — я сдамся, я дамся,
Я вспомню попку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что Басмой зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют — я дамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку и облик, и брови, и рот.

И вдруг, словно в сказочном старом Сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем заплачуся я.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства,
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

**
*

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз —
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости, мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямься,
Ты посмотришь на всё по-другому.

**
*

Окно, пюпитр, и, как овраги эхом, —
Полны ковры всем играным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполнение авторство процветать.

Окно не на две створки alla breve,
Но шире, — на три: в ритме трех вторых.
Окно и двор и белые деревья
И снег и ветки, — свечи пятерик.

Окно и ночь и пульсом бьющий иней
В ветвях, — в узлах височных жил. Окно
И синий лес всячих нотных линий
И двор. Здесь жил мой друг. Давно-давно

Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск, — был кругом войн и перемирий
И кругом свойств, занятий и знакомств.

И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.

И мерял я полуторною мерой
Судьбы и жизни нашей недомер,
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример.

**
*

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Всё это — не большая хитрость.

1931.

**
*

Всё снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополовой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно.

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за громом, за четверкой
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931.

**
*

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах — тела
Утопленниц-кровель.

Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи — рекою.

И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

И капли в кустах,
И улица в тучах,
И щебеты птах,
И почки на сучьях.

И все они, все
Выходят со мною
Пустынным шоссе
На поле Ямское,

Где спят фонари
И даль, как чужая:
Ее снегири
Зарей оглушают.

Опять на гроши
Грунтами несмело
Творится в тиши
Великое дело.

1931.

**

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников — не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выровнен по ватерпасу.

Но слякоть месит из лучей
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнет ручей,
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки — благодать!
Проталин черная лакрица...
Сторицей дай Тебе воздать
И, как реке, вздохнуть и вскрыться.

Дай мне, превысив нивелир,
Благодарить Тебя до сипу
И сверху окуни Свой мир,
Как в зеркало, в мое спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь
И желоба в слюне и пене,
И неба роговую синь,
И облаков пустые тени.

Слепого полдня желатин
И желтые очки промоин,
И тонкие слюдинки льдин,
И кочки с черной бахромою.

1931.

**

Любимая, — молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердьё,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931.

**
*

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою статья
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносятся,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь
И тянет петь, и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в даях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931.

IV

**
*

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

А в комнате пахнет, как ночью
Болотной фиалкой. Бока
Опущенной шторы морочат
Доверье ночного цветка.

В квартире прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В разлуке с тобой и писать бы,
Внося пополненья в бюджет.

Но грусть одиноких мелодий —
Как участь бульварных семян,
Как спущенной шторы бесплодь,
Вводящей фиалку в обман.

Ты стала настолько мне жизнью,
Что все, что не к делу, — долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.

И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней,
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.

Москва, VI, 1931.

**
*

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доньне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавливает голод дровяной.

Но неожиданно по портьеру
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами мера,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопя шьют.

Москва, VI, 1931.

**
*

Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твое присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обернут.

Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучевый ворот.

В котором, пропотев листвою
От взятых только что препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

Киев, VII, 1931.

**
*

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом —
Соседней Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям.
Когда ж мы ночью лампу жжем,
И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Пряма подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий
И снов без смерти и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, — опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес и листьев, и костей.

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распяьем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

Киев, VII, 1931.

**
*

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролеса,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелколесье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал, и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,
И всё тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, — грозней,
Чем былые набеги ногайцев,
Стлались цепи китайских теней.

То был ряд усыпальниц в завесе
Заметенных снегами путей

За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскую тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и все естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

1931.

**
*

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами;
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья.

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреновой
И тонут в бездне поколений;
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает,
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила?
И там, у Альп, в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю, и думаю, и знаю.
Смотри, и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

VI

**
*

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1931.

**
*

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Незваная, она внесла, во-первых,
Во все, что случилось, вкус больших начал.
Я их не выбирал и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год.
Две женщины, как отблеск ламп «Светлана»,
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То всё равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

1932.

**
*

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут,
Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрём.
Есть дом, где хлеб, как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы — радугой по хрусталою,
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О, ссадины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

1931.

**
*

Еще не умолкнул упрек,
И слезы звенели в укре,
С рассветом к тебе на порог
Нагрянуло новое горе.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Стояли, от слез охмелев
И астр тяжеля переливы,
Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.

Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов, и шаги,
И приторный привкус эфира.

Твой обморок мира не внес
В качанье венков в одноколке,
И пар обмороженных слез
Пронзил нашатырной иголкой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскую плыл панихидой.

Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.

Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.

Покоилась люстр тишина,
И в зареве их бездыханном
Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.

Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

Томившийся в ней поделом,
Но пущенный из заточенья,
Он песнею несся в пролом
О нашем с тобой обрученье.

Как сборы на общий венок,
Плетни у заставы чернели.
Короткий морозный денек
Вечерней звенел ригурнелью.

Воспользовавшись темнотой,
Нас кто-то догнал на моторе.
Дорога со всей прямоюй
Направилась на крематорий.

С заставы дул ветер, и снег,
Как на рубежах у Варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.

Озябнувшие москвичи
Шли полем, и вьюжная нежить
Уже выносила ключи
К затворам последних убежищ.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене —
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.

Ты дома подымешь пюпитр,
И, только коснешься до клавиш,
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдет незаметно.

А то, удивившись на миг,
Спохватишься ты на концерте,
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

1931.

VII

**
*

Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе.
Захваченный примеркой ожерелья,
Он еле управляется к заре.

Как горы мятой ягоды под марлей,
Всплывает город из-под кисеи.
По улицам шеренгой куцых карлиц
Бульвары тянут сумерки свои.

Вечерний мир всегда бутон кануна.
У этого ж — особенный почин.
Он расцветет когда-нибудь коммуной
В скрещеньи многих майских годовщин.

Он долго будет днем переустройства,
Предпраздничных уборок и затей,
Как были до него березы Троицы
И, как до них, огни Панатеней.

Всё так же будут бить песок размякший
И на иллюминированный карниз
Подтаскивать кумач и тес. Всё так же
По сборным пунктам развозить актрис.

И будут бодро по трое матросы
Гулять по скверам, огибая дерн.
И к ночи месяц в улицы вотрется,
Как мертвый город и остывший горн.

Но с каждой годовщиной все махровой
Тугой задаток розы будет цвeсть,
Всё явственнее прибывать здоровье,
И всё заметней искренность и честь.

Всё встрепаннее, всё многолепестней
Ложиться будут первого числа
Живые нравы, навыки и песни
В луга и пашни и на промысла.

Пока, как запах мокрых центифолий,
Не вырвется, не выразится вслух,
Не сможет не сказаться поневоле
Созревших лет перебродивший дух.

**
*

Весеннею порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве — конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды — желтолимонны,
И прбводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье —
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадью на броде
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал, и заводи
Машину половодья.

Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.
В краях заката стаял лед,
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весною.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желто-лимонной —

Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на-нет
В революционной воле.

**
*

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненья разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ

*Стихи, не включенные автором в раздел
«Начальная пора» книги «Поверх барьеров»*

Л Е С Н О Е

Я — уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме,
Подносит утро луч в упор.

Но мхи пугливо попирая,
Разгадываю тайну чар:
Я — речь безгласного их края,
Я — их лесного слова дар.

О, прослезивший туч раскаты,
Отважный, отроческий ствол!
Ты — перед вечностью ходатай,
Блуждающий — я твой глагол.

О, чернолесье — Голиаф,
Уединенный воин в поле!
О, певческая влага трав,
Немотствующая неволя!

Лишенных слов — стоглавый бор,
То — хор, то — одинокий некто...
Я — уст безвестных разговор,
Я — столп дремучих диалектов.

Г Р У С Т Ь М О Я

Грусть моя, как пленная сербка,
Родной произносит свой толк
Напевному слову так терпко
В устах, целовавших твой шелк.

И глаз мой, как загнанный флюгер,
Землей налетевшей гоним.
Твой очерк играл, словно угорь,
И око тонуло за ним.

И вздох мой — мехи у органа —
Лихой нагнетают фальцет;
Ты вышла из церкви так рано,
Твой чистый хорал недопет!

Весь мартиролог не исчислен
В моем одиноком житьи,
Но я, как репейник, бессмыслен,
В степи, как журавль у бадьи.

Б Л И З Н Е Ц Ы

Сердца и Спутники, мы коченеем,
Мы — близнецами одиночных камер.
Чья ж косы горящим Водолеем,
Звездою ложа в высоте я замер?

Вокруг — иных влюбленных верный хаос,
Чья над уснувшей бездыханна стража,
Твоих покровов — мнущийся канаус —
Не перервут созвездные миражи.

Земля успенья твоего — не вычет
Из возносящихся над сном пилястр,
И коченеющий Близнец граничит
С твоею мукой, стерегущий Кастор.

Я оглянусь. За сном оконных фуксий
Близнец родной свой лунный стан просыпал.
Не та же ль новь на брате, на Поллуксе,
Не та же ль новь сторожевых манипул?

Под ним — лучи. Чеканом блещет поножь,
А он плывет, не тронув снов пятою.
Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь,
Гнетешь и гнешь, и стонешь высокою?

Б Л И З Н Е Ц Н А К О Р М Е

Константину Локс

Как топи укрывает рдест,
Так никнут над мечтою веки...
Сородичем попутных звезд
Уйду однажды и навеки.

Крутой мы обогнем уступ
Живых, заночевавших криптий,
Моим глаголом, пеплом губ
Тогда найденыша засыпьте.

Уж пригороды позади.
Свежо... С звездой попутной дрогну.
Иные тянутся в груди,
Иные вырастают стогна.

Наложницы смежилась грудь,
И полночи обогнут профиль,
Колышется, коснеет ртуть
Туманных станов, кранов, кровель.

Тогда, в зловещей полутьме,
Сквозь залетейские миазмы,
Близнец мне виден на корме,
Застывший в безвременной астме.

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОСТОР

Сергею Боброву

Что ни утро, в плененьи барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфьера
Вырываются в брезжущий тент.

Их напутствуют знаком беспалым,
Возвестившим пожар каланче,
И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече.

Утончаются взвитые скрепы,
Струнно высится стонущий альт;
Не накатом стократного склепа,
Парусиною вздулся асфальт.

Этот альт — только дек поднебесий,
Якорями напетая вервь.
Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная верфь.

И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.

Прирученный не вытерпит беркут,
И не сдержит твердынь карантин.
Те, что с тылу, бескрыло померкнут, —
Окрыленно вспыхнешь ты один.

Н О Ч Ь Ю

Ночью... со связками зрелых горелок,
Ночью... с сумою дорожной луны,
Днем ты дохнешь на полуденный щелок,
Днем, на седую золу головни.

День не всегда ль порошился шепоткой
Сонных огней, угрызеньем угля?
Ночь не горела ль огнем самородка
Жалами стульев, словами улья?

О, просыпайтесь, как лаззарони
С жарким, припавшим к панели челом!
Слышите исповедь в пьяном поклоне? —
«Был в сновидения ночью подъем».

Ночью, — ниспал твой ослабнувший пояс,
И расступилась смущенная чернь...
Днем он таим поцелуем пропойц,
Льнущих губами к оправе цистерн.

**
*

За обрывками редкого сада,
За решеткой глухого жилья,
Раскатившеюся эспланадой
Перед небом — пустая земля.

Прибывают немые широты,
Убыл по миру пущенный гул,
Как отсроченный день эшафота,
Горизонт в глубину отшагнул.

Дети дня, мы сносить не привыкли
Этот запада гибнущий срок,
Мы, надолго отлившие в тигле
Обиходный и легкий восток.

Но что скажешь ты, вздох по наслышке,
На зачатый тобою прогон,
Когда ширью грудного излишка
Нагнетаем, плывет небосклон?

Х О Р

Ю. Анисимову

*Жду, скоро ли, с лесов летя,
Вершиной в снежном хоре,
Падет, главою очертя,
В пучину ораторий.*

(Вариант темы).

Уступами восходит хор,
Хребтами канделябр:
Сначала — дол, потом — простор,
За всем — слепой октябрь.

Сперва — плетень, над ним — леса,
За всем — скрипучий блок.
Рассветно строясь, голоса
Уходят в потолок.

Сначала — рань, сначала рябь,
Сначала — сеть сорок.
Потом — в туман, понтоном в хлябь
Возводится восток.

Сперва — жжешь вдоволь жирандоль,
Потом — сгорает зря;
За всем — на сотни стогн оттоль
Разгулы октября.

Но будут певчие молчать,
Как станет звать дитя.
Сорвется хоровая рать,
Главою очертя.

О, разве сам я не таков,
Не внятно одинок?
И разве хоры городов
Не певчими у ног?

Когда, оглядываясь вспять,
Дворцы мне стих сдадут,
Не мне ль тогда по ним ступать
Стопами самогуд?

НОЧНОЕ ПАННО

Когда мечтой двояковогнутой
Витрину сумерки покроют,
Меня сведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров;
Да надо так, чтоб вместе мучились,
Сам-третий с нами — ночи норов.

Да, надо, чтоб с отвагой юноши
Скиталось сердце Фаэтоном,
Чтоб вышло из моей полуночи
Оно тяглом к твоим затонам.

Чтобы с затишьями шоссейными
Огни перекликались в центре,
Чтоб за оконными бассейнами
Эскадрою дремало джентри.

Чтоб, ночью вдвоенной оправданы,
Взошли кумиры тусклым фронтом,
Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна золотого вычески
Сбивались сединами к мелям,
Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.

Когда ж костры колоссов выгорят,
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригородь,
И где, когда вне песен — негде?

СЕРДЦА И СПУТНИКИ

Е. А. В.

Итак, только ты, мой город
С бессонницей обсерваторий,
С окраинами пропаж, —
Итак, только ты, — мой город,
Что в спорные, разные зори
Дверьми окунаешь пассаж.

Там: в сумерек сизом закале,
Где блекнет воздушная проседь,
Хладеет заброшенный вход.
Здесь: к неотгорающей дали
В бывалое выхода просит,
К полудню теснится народ.

И словно в сквозном телескопе,
Где, сглазив подлунные очи,
Узнал близнеца звездочет,
Дверь с дверью, друг друга пороча,
Златые и синие хлопья
Плутают и гибнут вразброд.

Где к зыби клонятся балконы
И в небо старинная мебель
Воздета, как вышняя снасть,
В беспамятстве гибельных гребель
Лишатся сердца обороны,
И спутников скажется власть.

Итак, лишь тебе, причудник,
Вошедший в афэлий пассажем,
Зарю сочетавший с пургой,
Два голоса в песне, мы скажем:
«Нас двое: мы — Сердце и Спутник,
И на-двое тот и другой».

Приложение первое

**ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ
И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
НЕКОТОРЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ И ПОЭМ**

С Л О Ж А В Е С Л А

Лодка колотится в озерной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь, песня, тешатся все.
Это ведь значит — шорох сиреневый,
Роскошь крошёных черемух в росе,
Губы и пряди на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на звезды, как царства проматывать.

У Л И Ч Н А Я

Метлы бастуют. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезга
Через заборы на мускулах.

Возьтятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев,
Вскакивают: за оградю
Север злодейств сереет.

С паперти в дворик реденький.
Тишь. А самом печати
С шорохом прет в передние
Зябких берез зачатъя.

Улица дремлет призраком.
Господи! Рвани-то, рвани!
Ветер подымет изредка,
Не разберет названья.

Пустошь и тишь. У булочных
Не становились в черед.
Час, когда скучно жульничать
И отпираться: — верят.

Будешь без спора выпущен.
В каждом — босяк. Боятся.
Час, когда общий тип еще:
Помесь зари с паяцем.

Как вдруг, из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, — плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами,
И горлом, и глазом, назад
Крючком усыхающим задранный!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро рыбацье мокра,
С лесы за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток
В Сокольничьем мусоре вывалян.

**
*

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную между;

Где тихо шествующей тайны
Меж яблонь пепельный прибой;
Где ты над всем, как помост свайный,
И даже небо — под тобой.

О, ночь, немая Беззащитность
Пред натиском тенет-имен,
Что нашей мысли ненасытность
Расставила под твой Эон!

**
*

Сегодня мы исполним грусть его —
Так верно встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак, таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья,
Что сняли номер дома рокового.
Окном застигнутая даль моя
Была вождем похода такового.

Даль в поисках, пугливый авангард,
Даль высадки на горизонт вечерний,
А во дворе — песнь пахотных губерний,
Весна со взломом, — и повальный март.

О, пой, земля, как поданные сходни;
Под брызги птиц готов отчалить я.
О, город мой, весь день, весь день сегодня
Не сходит с уст твоих печаль моя!

Э Д Е М

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправо уйдет Евфрат.

Горит немислимый Эдем
В янтарных днях вина,
И небывалым бытием
Точатся времена.

Минуя низменную тень,
Их ангелы взнесут.
Земля — сандалии ремень,
И вновь Адам разут.

И солнце — мертвых губ пробел
И снег живых мощей
Того, Кто всей вселенной бдел
Предсолнечных ночей.

Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайнам первых дней:
Курится рубежом любовь
Между землей и ней.

**
*

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Терялась ты в снедающей гурьбе.
Но, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Припомню ль сон, я вижу эти стекла
С кровавым плачем, плачем сентября;
В речах гостей непроходимо глохла
Гостиная ненастьем пустыря.

В ней таял день своей лавиной рыхлой
И таял кресел выцветавший шелк,
Ты раньше всех, любимая, затихла,
А за тобой и самый сон умолк.

И — пробужденье. День осенний темен,
И ветер — кормчим увозимых грез.
За сном, как след роняемых соломин,
Отсталое падение берез,

Но в даль отбытья, в даль летейской гребли,
Грустя, грустя, гляжу я, блудный сын,
И подберу, как брошенные стебли,
Пути с волнистым посвистом трясин.

А. Л. Ш.

Παρθενία, Παρθενία,
μοὶ μὲ λιποίσ' οἶχη

ΣΑΠΦΩ

Вчера, как бога статуэтка,
Нагой ребенок был разбит.
Плачь! Этот дождь за ветхой веткой
Еще слезой твоей не сыт.

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва ль успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот, сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт.

Они узнают на гиганте
Следы чужих творивших рук,
Они услышат возглас: «Встаньте
Четой зиждительных услуг!»

Увы, им надлежит отныне
Весь облачный его объем,
И весь полет гранитных линий
Под пар избороздить вдвоем.

О, запрокинь в венце наносном
Подрезанный лобзаньем лик.
Смотри, к каким великим веснам
Несет окровавленный миг!

И рыцарем старинной Польши,
Чей в топях погребен галоп,
Усни! Тебя не бросить больше
В оружии девственных озноб.

В О К З А Л

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный, верный рассказчик,
Границы горюнивший люк.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь только составлен резерв;
И сроком дымящихся гарпий
Влюбленный терзается нерв.

Бывало, посмертно задымлен
Отбытий ее горизонт,
Отсутствуют профили римлян
И, как-то, — нездешен beau monde.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал,
И в пепле, как mortuum carut,
Ширяет крылами вокзал.

И трубы склоняют свой факел
Пред тучами траурных месс,
О, кто же тогда, как не ангел,
Покинувший землю экспресс?

И я оставался и грелся
В горячке столицы пустой,
Когда, с очевидностью рельса,
Два мира делились чертой.

В Е Н Е Ц И Я

А. Л. Ш.

Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло сонною стоянкой,
Безлюдье висло от весла.

Висел созвучьем Скорпиона
Трезубец вымерших гитар,
Еще морского небосклона
Чадящий не касался шар;

В краях, подвластных зодиакам,
Был громко одинок аккорд.
Трехжальым не встревожен знаком
Вершил свои туманы порт.

Земля когда-то оторвалась,
Дворцов развернутых тесьма,
Планетой всплыли арсеналы,
Планетой понеслись дома.

И тайну бытия без корня
Постиг я в час рожденья дня:
Очам и снам моим просторней
Сновать в туманах без меня.

И пеной бешеных цветений,
И пеною взбешенных морд
Срывался в брезжущие тени
Руки не ведавший аккорд.

З И М А

Вере Станевич

Прижимаюсь щекою к улитке
Вкруг себя перевитой зимы;
Полношумны раздумия в свитке
Котловинной, бугорчатой тьмы.

Это раковины ли сказанье,
Или слуха покорная сонь,
Замечтавшись, слагает пыланье
С камелька изразцовый огонь.

Под горячей щекой я нащупал
За подворья отброшенный шаг.
Разве нынче и полночи купол
Не разросшийся гомон в ушах?

Подымаются вздохи отдушин,
Одинок залятье: «Распрячь!»
Черным храпом карет перекушен
За подвал подтекающий плач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет,
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

Над пучиною черного хода,
Истерзавши рубашку вконец, —
Обнаженный, в поля, на свободу
Вырывается бледный близнец.

Это — жуткие всё прибаутки
И назревшие невдалеке,
Их зима из ракушечьей будки
Нашептала горячей щеке.

И о том, веселился иль плакал,
И любим пешеход иль нелюб,
Мне споет океанский оракул
Перламутровой полностью губ.

П И Р Ш Е С Т В А

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь,
И в них твоих измен горящую струю,
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Земли хмельной сыны, мы трезвости не терпим,
Надеждам детских дней объявлена вражда.
Унылый ветер ночей — тех здравиц виночерпьем,
Которым, как и нам, — не сбыться никогда.

Не ведает молва тех необычных трапез,
Чей с жалостию ночь опустошит крушон,
И крохи яств ночных скитальческий анапест
Наутро подберет, как крошка Сандрильон.

И Золушки шаги, ее самоуправство
Не нарушают графства чопорного сна,
Покуда в хрусталях неубранные яства
Во груды тубероз не превратит она.

**
*

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе приветных муз.
Я севером глухих наитий
Самозабвенно обоймусь.

О, всё тогда — в кольце поэмы:
Опалины опалых роз,
И тайны тех, кто — тайно немы,
И тех, что всходят восходом гроз;

О, всё тогда — одно подобье
Моих возроптавших губ,
Когда из дней, как исподлобья,
Гляжусь в бессмертия раструб.

Взглянув в окно, даю проспекту
Моей походкою играть...
Тогда, ненареченный некто,
Могу ли что я потерять?

**
*

И. В.

Не подняться дню в усилиях светилен,
Не совлечь земле крещенских покрывал. —
Но, как и земля, бывалым обессилен,
Но, как и снега, я к персти дней припал.

Далеко не тот, которого вы знали,
Кто я, как не встречи краткая стрела?
А теперь — в зимовий глохнущем забрале —
Широта разлуки, пепельная мгла.

А теперь и я, недрогнувшей портьерой
Тяжко погребу усопшее окно,
Спи же, спи же, мальчик, и во сне уверуй,
Что с тобой, былым, я, нынешний, — одно.

Нежится простор, как дымногрудый филин,
Дремлет круг пернатых и незрячих свеч.
Не подняться дню в усилиях светилен,
Покрывал крещенских ночи не совлечь.

Л Е Д О Х О Д

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
Рыбачий стан под старым Спасом
И крест, и кузова расшив,
И вечер вырвешь только с мясом.

Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит пловучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовой,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916-1928-1945.

МАРБУРГ

День был резкий и тон был резкий,
Резки были день и тон —
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пеньюар был тонок как хитон.

Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были рука и стулья,
Под головой подушка для ног.

Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
И к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.

Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь вы, если по-мужески —
мне больно, довольно, есть мера длине,
тяги, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно — стенает во мне
Назревшее сердце, мой друг в матинэ!

Вчера я родился. Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь.
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят не многие с мосту.

Инстинкт сохраненья, старик-подхалим
Шел рядом, шел следом, бок-о-бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».

Шагни, и еще раз, — твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путанный, древний, седой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

Плитняк раскалялся. И улицы лоб
Был смугл. И на небо глядел исподлобья
Булыжник. И ветер, как лодочник, греб
По липам. И сыпало пылью и дробью:

Лиловою медью блистала плита,
А в зарослях парковых глаз хоть выколи,
И лишь насекомые к солнцу с куста
Слетают, как часики спящего тикая.

О, в день тот, как демон, глядела земля,
Грозу пожирая, из трав и кустарника,
И небо, как кровь, затворялось, спалась
Об взгляд тот, тяжелый и желчный, как арника.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Чего мне бояться? Я тверже грамматики
Бессонницу знаю. И мне не брести
По голой плите босоногим лунатиком
Средь лип и берез из слоновой кости.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мною на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет и окна распахнуты ●
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь — король. Королева — бессонница.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

Г О Р О Д

Отрывки целого

Уже за версту
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства как пёресыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей. Каланча,
Пронизавшая заревом мглу.

Навстречу, по зареву, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи,
Это — галки; это — крыши, кресты и сады и подворья.
Это — галки,
О ближе и ближе; выше и выше.
Мимо, мимо проносятся, каркая, мощно, как мачты,
за поезд, к Подольску.
Бушуют и ропщут.

Это вещи, голые ветки, божась чердаками,
Вылетают на тучу.

Это — черной божбою
Над тобою бьется пригород Тьмутараканью
В падучей.

Это — «Бесы», «Подросток» и «Бедные люди»,
Это — Крымские бани, татары, слободки, Сибирь
и бессудье,

Это — стаи ворон. — И скворешницы в лапах суков
Подымают модели предместий с издельями
Гробовщиков.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой встрепенувшейся свист замутив,
Скользит, задевая краями за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места! — Пора. Пора.

Окрестности взяты на буфера.

Стекло в слезах. Огни. Глаза.
Народу, народу! — Сопят тормоза.
Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с ливнем борется трамвай.
Где-то снится каменным метопам
Лошадьми срываемый со свай
Громовержец, правящий потопом.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то театр музеем заподозрен.
Где-то реют молний повода.
Где-то рвутся каменные ноздри.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
Носится с уже погибшим планом:
Что ни вспышка, — в тучах, меж руин
Пред галлюцинанткой — Геркуланум.

Гроном дрожек, с аркады вокзала,
На границе безграмотных рош,
Ты развернут, Роман Небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь,

Фонарями бульваров, книга
О страдающей в бельэтажах,
Сандрильоне всех зол, с интригой
Бессословной слуги в госпожах.

Бовари! Без нее б бакалее
Не пылать за стеклом зеленой.
Не вминался б в суглинок аллеи
Холод мокрых вечерен весной.

Не вперялись бы от ожидания
Темноты, в пустоте rendez-vous,
Оловянные птицы и зданья,
Без нее не знобило б траву.

Колокольня лекарствами с ложки
По Посту не поила бы верб,
И Страстную по лужам дорожки
Не дрожал гимназический герб.

Я опасаюсь, небеса...

[Дальше, как в окончательной редакции].

[Разночтение в 5 строке с конца поэмы:]

Шуршащий лист вкушает отдых,

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Ахейцы проявляют цепкость.
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Не чуя ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, — идут дни,
Проходят месяцы и годы.
В один прекрасный день они
Приносят весть: родился эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, — идут дни
И крепость разрушают годы.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.

Уместно ли песнью звать сущий содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык?

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что если вымостить ими стихи —
Простятся все грехи.

Всё это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны,
А как натянут этот слух
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не успевала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.

То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками металась мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало крикнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало,
Про то, как с фронта шли пешком,
Уж ты и спишь и видишь рожь, —
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь
Глощает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

В ушные раковины сна
Из раковин водопровода
Перекачала тишина
Все шопоты золы и соды.
Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались,

Где слышалось: вчерась, ночесь,
— И в керенку ценилась честь...
Поздней на те березки, зорьки
Взглянул прямолинейно Горький.

А сзади, в зареве легенд
Идиот, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его, зазнавшись, поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.

А сзади, в зареве легенд
Идиот, герой, интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
Над драмой реял красный флаг.
Он выступал во всех ролях
Как друг и недруг деревенек,
Как их слуга и как изменник.

А позади, а в стороне
Рождался эпос в тишине.

Обваливайся мир и сыпья,
Тебя подслушивает пыль.
Историк после сложит быль
О жизни, извести и гипсе.
Ведут свой собственный архив
Пылинки, забиваясь в уши
Органых труб и завитушек.
Лепные хоры и верхи
Оштукатурены це-дуром;
Для них — пустая процедура
Произношенье звуков вслух.
К такой щекотке мусор глух.

Но вдохновенья, чей объем
Одушевляет даже бревна,
Улавливает он любовно
Всепожирающим чутьем.

В край мукосеев шел максим,
Метелью мелкою косим.
Мелькали баки и квадраты,
Крича — до срочного возврата!
В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк,
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно дышащий мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу
И капли сырости в углу
И лед и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше!

А за Москва-рекой хорьки,
Хоралу горло перегрызши,
Бесплотно пили из реки
Тепло и боль болезни высшей.

Мы были сумеркам с руки:

Терзались той же страстью крысы.
Ведь и у них талант открылся,
И тиф у кассы с ними грызся
О контрамарке на концерт.

И тут сумерничала смерть.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

Здесь места нет стыду.

Я не рожден, чтоб три разá
Смотреть по-разному в глаза.
Еще бессмысленней, чем песнь,
Тупое слово враг. —
Гошу. — Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.

Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть как я.

Мы были музыкой объятий
С сопровождением обид.

Бывало в том конце слободки,
Со снегом реденьким в щепотке,
Мелькнет с мужчиной, как сквозь хмель,
Смущающаяся метель.
И тут же резвую хвастунью
Возьмет на воздухе раздумье:
Чем эту пропасть крыш завясть?
Там вьюшки. Вязью их не взять.
Дрова, деревья, дровни, рынок, —
А в воздухе пять-шесть снежинок,

А душ, а крыш, — в глазах рябит!
Робеет снег, — казаться стыд.
Но скоро открывает иней,
Что нет под крылышками стрех
Ни вьюшек, ни души в помине,
И снегу жаловаться грех.

И, осмелевши, крепнет снег,
Скользя с притворным интересом
По подворотням и по рельсам,
И хлопья врут Бог знает что,
Облапив теплое пальто,
Плетут и распускают петли...
Вы скажете: как снег приветлив!
Дай Бог ему за то — но вдруг
Откуда-то, как в бочку бондарь,
Ударит буря и, помедлив,
Ударит пуще, и на стук
Бурану отопрет испуг,
И в дверь ворвется ипохондрик
И вырвет дверь у вас из рук,
Вы вскрикнете — как привередлив!
Да знаете ли вы! — но вдруг
На помертвелом горизонте —
Оглядываясь на бегу...
Попробуйте-ка, урезоньте
В такую непроглядь, в пургу
В вас втюрившуюся каргу!
Тогда стремительно и метко
Зачерчивая вечер в клетку,
Взвивалось в воздухе лассо
Сухих строительных лесов.
Рождалось здание за лесами
С распущенными волосами,
И страсть народу волоклось
В седых сетях ее волос.
И — в капоре пурги тогдашней,
Сквозь мглу распахивались нам
Объятыя Сухаревой Башни,
Простертые, как Нотр Дам.

О раздираемый страстями
Стан, сумасшедший, как обвал,
В те ночи кто с тобой не спал,
Разыскиваемый властями?
Кто хохот плеч твоих отверг?
Всею необузданностью муки
Твои заломленные руки
Кричали вьюге: руки вверх!

Ты становилась все капризней,
И ненасытности стропил,
Ослабевая, уступил
Последний жалкий признак жизни.
В ту ночь в понятиях небес
Всё стало звуком: звук исчез.

Мы были музыкою чашек,
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.

Трещал мороз и ведра висли.
Кружились галки, — и ворот
Стыдился застуженный год.
Плечо нуждалось в коромысле.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.

Потом двенадцать полных лун
На нем безмолвствовал колун.

С исчезновенья фонарей
Воображенью пустырей
Всё стало представляться звуком,
И даже сумрак у дверей,
С исчезновеньем фонарей
Притворства ради пахший луком.

Но я видал девятый съезд
Советов. В сумерки сырые,
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял мир и мостовые,
Однако, сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств
Пошел, взволнованный донельзя,
К театру, с пропуском в оркестр.
Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и все окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос Карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
За день пред тем сломался Цельсий,
Всё наземь побросав с нуля:
Стал падать снег, зашлась земля,
Упало сердце, флигеля
И голой ростепели тельце
Исчезло, став еще тощей
В осколках рухнувших вещей.
На телеграфные устои
Сел иней сеткою густою,
И зимний день в канве ветвей
По давнему обыкновенью
Потух не вдруг, как бы в ответ
Развитью сказки. В то мгновенье
Такою сказкою в канве
Ветвей казаться мог конвент.
И день потух. — Ах, эпос, крепость,
Зачем вы задаете ребус?
При чем вы, рифмы? Где вас нет?
Мы тут при том, что не впервые
Сменяют вьюгу часовые
И в эпос выслали пикет.
Мы тут при том, что в театре террор
Поет партеру ту же песнь,

Что прежде с партитуры тенор
Пел про высокую болезнь.
Про то, что белая горячка
Цемент крепче и белей,
Кто не возил подобной тачки,
Тот испытай и поболей.

Про то, как вдруг, в конце недели
На слепнувших глазах творца
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.
Тяжелый строй, ты стоишь Трои,
Что будет, то давно в былом.
Но тут и там идут герои
По партитуре, напролом.
Однажды Гегель ненароком
И вероятно наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
Теперь сквозь строй его рапсодий
Идут герои напролом.
Я сам немножко в этом роде
И создан под таким углом.

Чем больше лет иной картине,
Чем наша роль на ней бледней,
Тем ревностнее и партийней
Мы память бережем о ней.

Из этой умудренной дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей
И время сгладило детали.
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.

Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой незванный водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А я пред тем готов был клясться
Что Геркуланум факт вне класса.

Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузи-Ямы
Агитпрофсожевский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск,
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.

Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.

Опять, куда ни глянешь, сыро.
По всей стране холодный пот
Струится, заливая дыры
С юродством сросшихся слобод.

Опять фрегат пошел на траверс,
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари

По всей окраине приморской
По льду рассыпались псари.

Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.

Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.

Под Порховым в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От тихой плавности облавы
Неведомого мятежа.

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал!
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.

Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.

Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосно,
Другое заходило в Дне.

СПЕКТОРСКИЙ

1

Весь день я спал и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.

Сегодня ж ночью теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.

Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег как на зло рыж.
И любо ж, верно, крикать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!

Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едетя в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?

Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.

Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четверем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!

Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушин трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде и ветру, и огню.

Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.

Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.

И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.

Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.

Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.

В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.

«Ну, и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика — дойду».

В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.

Пока во мгле пустуют писсуары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду,

Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит,

Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства, —
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли, хрустки,
В пунцовой стуже, пьяной, как крошон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки,
И плыл в ветвях, от дола отрешен.

Посеребренных ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей.

И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.

Причин за этой сладкой лихорадкой
Нашлось немало, чтобы к Рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

Был день. Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь и Ольга, и зима,

Как Ольгой бьют его души истоки,
Как Ольга им, что́ небом ночь, нема.

И чем она немее и громадней,
И чем он ею жестче и зычней,
И чем она милей и ненаглядней, —
Тем ближе срок, и это дело дней.

Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливаясь льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.

И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.

Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что выюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.

А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила,
И жили люди, не снимая шуб.

Забывтый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на Рождестве.

Всё затевалось Ольгой для Сережи,
Но так, что муж о нем напомнил сам.
И потому, в постели с нею лежа,
Что мог сказать он по ее глазам?

Он верил ей, которую он выжег
Из сердца, как безвредной голове.

.
Решили Новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.

Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.

Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.

Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими sprysнуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.

Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.

Ночные тени к кассе стали красться.
Прочистив грудь, разъезд очистил путь.
Толпой ввалились в зал второго класса
Рядить возниц и валенки обусть.

Не торговались — спяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.

Был снег волнист, окольный путь — извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз,
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.

«Не слышу. — Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб в потьмах...» Толчок,
Другой и третий, — и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.

«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. — «Ну, как?» — «А мы на парных».
«А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.

Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребывания здесь.

Дверь врезалась в сугроб на поларшина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка.

И обступила тьма. А ну, как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.

В ту ночь еще ребенок годовалый
За полную неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?»

Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Всё порывалось за ее предел.

Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.

Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт, черт знает чем, испортив,
И фыркали, салат пересолив.

Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, — шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:

Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться об земь головой.

Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немые,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек,
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С Новым годом!»
И гранных дюжин громовой салют.

«О, мальчик мой, и ты, как все, забудешь,
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнею ночью утоплю.

Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.

Шепчу? — Нет, нет. — С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, — вишневки чернота.
Карениной, — так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибой, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.

И год не нов. Другой новей обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.

Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,

И всё стихает. Точно топот, рухнув
За кухню, попал в провал, в Мальстрем,
В века... — Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

Когда рубашка врезалась подпругой
В углы локтей и без участия рук,
Она зарыла на плече у друга
Лица и плеч сведенных перепуг.

То не был стыд, ни страсть, ни страх устоев,
Но жажда тотчас и любой ценой
Побыть с своею зябкой красотой,
Как в зеркале, хотя бы миг одной.

Когда ж потом трепещущую самку
Раздел горячий ветер двух кистей,
И сердца два качнулись ямка в ямку,
И в перекрестный стук грудных костей

Вмешалось два осатанелых вала
И, задыхаясь, собственная грудь
Ей голову едва не оторвала
В стремленье шеи любящим свернуть,

И страсть устала гривой бросаться,
И обожанья бурное русло
Измученную всадницу матраца
Уже по стержню выпрямив несло,

По-прежнему ее, как и вначале,
Уже почти остывшую как труп,
Движенья губ каких-то восхищали
К стыду прегорько прикушенных губ.



До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.

С утра на завтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.

По талой каше шлепают калошки.
У поля все смешалось в голове.
И облака, как крашенные ложки
Крутятся, плывут в вареной синеве.

На третий день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогодней попойкой,
И оттого-то пляшет барометр.

И так как шутка не совсем понятна
И вокруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.

Метель тех дней! Ночных запойных туч,
Встав поутру, ничем не опохмелишь.
И жалко сна, а состраданье — ключ
К загадке самых величавых зрелищ.

Леса с полями строятся в каре,
И дышит даль нехолостою грудью,
Как дышат дула полевых орудий,
И сумерки, как маски батарей.

Как горизонт чудовищно вынослив!
Стоит средь поля, всюду видный всем.
Стоим и мы, да валимся, а после
Спасаемся под грудю хризантем.

Нет, я рехнусь! Он знает всё, скотина.
Так эти монологи лишний труд?
Молчать, кричать? Дышать зимы картиной?
Так уши, отморозив, снегом трут.

Послушайте! Мне вас на пару слов.
Я Ольгу полюбил. Мой долг — — «Так что же?
Мы не мещане, дача общий кров.
Напрасно вы волнуетесь, Сережа».

«Для бодрости ты б малость подхлестнул.
 Похоже, жаркий будет день, разведрясь».
 Чихает цинк, ручьи сочат весну,
 Шурфуя снег, бушует левый подрез.

Струится грязь, ручьи на все лады,
 Хваля весну, разворковались в голос,
 И, выдирая полость из воды,
 Стучит, скача по камню, правый полоз.

При въезде в переулок он на миг
 Припомнит утро въезда к генеральше.
 Приятно будет, показав язык
 Своей норе, проехать фертом дальше.

Но что за притча! Пред его дверьми
 Слезает с санок дама с чемоданом.
 И эта дама — «Стой же, черт возьми!
 Наташа, ты?.. Негаданно, неожиданно?..

Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
 Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго?
 Оставь, пустое, взволоку и сам.
 Толкай смелей, она у нас заволгла.

Да, резонанс ужасный. Это в сад.
 А хоть и спят? Ну, что ж, давай потише.
 Как не писать, писал дня три назад.
 Признаться, и они не чаще пишут.

Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
 Чего ты смотришь?» «Пыли, пыли, пыли!
 Разгром! Что где! На всех вещах вуаль.
 Скажи, тут верно год полов не мыли?»



Когда он в сумерки открыл глаза,
Не сразу он узнал свою берлогу.
Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.

Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.

Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сенник,
Внизу на кухне громыкнули блоком.

Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.

Не сдобровать забывшемуся сном
При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день — хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.

Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.
Но это перемирие прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.

Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час неоцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.

Вам дико всё. Призвание, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда оно на нас не обижалось.

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головомойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.

Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки сохли, как куски дерюги.
Напившись где-то рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.

И той же ночью с часа за второй,
Вооружась «Громокипящим Кубком»,
Последний сон проспори́л брат с сестрой.
Теперь они носились по покупкам.

Хвосты у касс, расчеты и чай
Влияли мало на Наташин норев,
И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.

Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.

От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты Мерилиза.

«Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, да и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты — молод, это плюс,
А твой отрыв от поколенья — минус.

Ты вне исканий, к моему стыду.
В каком ты стане? Кстати, как неловко,

Что за отъездом я не попаду
С товарищами Саши на маевку.

Ты возразишь, что я неглубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка,
И только всех обманывает внешность?»

«Оставим спор, Наташа. Я неправ?
Ты праведница? Ну, и на здоровье.
Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровой».

Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.

—

На Земляном Валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из Фета.
Что и земля, как клумба, и кругла, —
Поют судки вокзального буфета.

Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.
И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.

Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытие огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.

Потом перрон и град шагов и фраз,
И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?»
И у окна: «Итак, в последний раз.
Ступай. Мы больше ничего не выжмем».

И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Язу
И осыпает просеки золой
И пилит лес сипеньем вестингауза.

Проходит ночь, и солнце, трепеща,
Сидит в воде и фыркает, покамест
Река и даль, и эхо сообща
Заботливо выводят поезд на мост.

И снова сосны рубятся сплеча.
И грохот, став еще неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначения.

С вокзала брат поплелся на урок.
Он рад был дать какой угодно откуп,
Чтоб не итти, но, сонный, как сурок,
Покорно брел на Добрую Слободку.

Пятиэтажный дом был той руки,
Где люди пьют и мрут и кошки гадят,
Хиреют в кацавейках старики,
И что ни род, то сумасшедший прадед.

Про этот ад, природный лицемер,
Парадный ход умалчивал в таблицах.
Вот отчего поклонники химер
Предпочитали с улицы селиться.

По вечерам он выдувал стекло
Такой игры, что выгорали краски,
Цвели пруды, валился частокол,
И гуще шел народ по Черногрязской.

С работ пылит ватага горемык.
Садится солнце. Приработок прожит.
Им не видать конца, и в нужный миг
За ними можно прозевать Сережу.

Но вот он пулей из-за тупика,
И — за угол, и, расплывясь в гримасу,
Бултых в толпу, кого-то за бока,
И — в сторону, и — ну с ним обниматься.

Их возгласы увозят на возах,
Их обступают с гулом колокольным,
Завязывают заревом глаза
И оставляют корчиться на кольях.

В кустах калины слышат их слова.
Садовая не придает им весу.
Заря глотает пиво, и права,
Что шуруется и точно смотрит пьесу.

Кирпич кармином капает с телег.
Снуют тела, и тени расторопней
Пластаются по светлой пастиле,
И тонут кони в заревом сиропе.

Затем кремень твердеет в кутерьме
Подушками похолодевшей лавы,
И пахнет, как крахмал и карамель
В стеклянной тьме колониальных лавок.

Прислушаемся всё ж. «Вообрази,
Я чувствовал!» — И я. — «Ты рад?» — Безмерно!
«Но объясни — !» — Мне завтра на призыв.
«И ты давно — ?» — Вчерашний день из Берна.

Нечаянности, новости. — Друзьям
В один подъезд. Попутный комментарий.
«Мне на урок, а ты-то в чьи края?»
— Ты — маяться, а я других мытарить.

Ответ неясен, да и лень вникать.
Площадки гулким хором обещают
Подняться в пятый от ученика,
И без хозяев поболтать за чаем.

Кому предназначался этот пыл?
Откуда столько наигрыша в тоне?
Кто ж вызвал эти чувства? Это был
Престранный тип с душой о паре доньев.

Благодаря ее двойному дну
Он слыл еще у близких единицей.
Едва ль там знали, что на то и нуль,
Чтоб сообразно мнимости цениться.

Заклятый отрицатель, враг имен,
Случайно он не стал авторитетом:
Я знаю многих, не дельней, чем он,
Себе карьеру сделавших на этом.

Довольно серый отпрыск богачей,
Он в странности драпировал безделье.
Зачем он трогал Ницше? Низачем.
Затем, что книжки чеков шелестели.

Однако рано забегать вперед.
Условимся пока смотреть сквозь пальцы,
Как человек лавирует и врет,
Блажит и носит имя Сашки Бальца.

Хотя пожар погас на пустырях,
Не так легко расстаться с чердаками.
Закату жалко этих растерях,
Забитых круглодневным чертыханьем.

Подобно стаду с городских кладбищ,
Бредет и блеет вечера остаток,
И сердце длинным нащелком, как бич,
Всё чащеогревает это стадо.

Оно давно в тоске, благодаря
Клопам и кляксам, векселям и срокам.
Ему навязан дылда в волдырях,
В суконной форме тайного порока.

Что это было? Кто его прервал?
Назад, назад! С какой он выси свергся!
Сперва ж однако... Никаких «сперва»!
Плевать ему на выродков и Ксерксов!

Ах, все равно. О, Боже! Он кишит
Их рассказнями, точно дом — клопами.
Все ездили, а он к Москве пришит,
Хоть и в утробе знал ее на память.

Как им везет! Наташа, Сашка... Жаль,
Но всё их знание — одного покроя.
К кому ж пойдешь? Одна ночная даль
Приемлемые заключенья строит.

Она их строит из ветвей и звезд.
Как дикий розан в ворсяных занозах,
Весь воздух дня, весь гомон, весь извоз,
Вся улица — в шипах ее прогнозов.

Вот и сейчас в окно, как сквозь надрез,
Сочится смех, и крепнет вишни привкус,
И скачет чиж, и вечер детворе
Грядущей жизни делает прививку.

Возиться с Сашкой? А за что? За то,
Что этот уж и впрямь не жнет, не сеет?
Он вновь женат. С какой он простотой
Меняет их, как все свои затеи!

Ведь он дешевка, пестрый аграмант,
А может и того еще махровой.
Да лишь пошляк и ярк, как роман,
И не стеснен своею скучной кровью.

Холодный гул перил пошел в подъем,
И вышиб дверь и съехал вниз, как льдина.
Ударило столовым бытием.
Он очутился в гуще пестрядинной.

Курили, ржали, чашки покачнув,
Все двинулись. Под желтой лампой плавал
И падал на пол спутавшийся шнур
Восьми теней и им сужденных фабул.

Ничем не собираясь удивлять,
Он сел в углу, и разговор иссякший
Возобновился с шумом. Самдевят,
Он никого не знал тут, кроме Сашки.

Естественно, что между чых-то фраз
Вставлял и он свои, и все смеялись,
Но тут же забывал их каждый раз
Далекий, как вчерашний постоялец.

Возможно, тут не одному ему
Не так легко на это всё смотрелось,
И схваченная в сроки, как в кайму,
И чья-нибудь еще томилась зрелость.

Но так кипел словесный пустоцвет,
Что вышивки и клобуки растений
Объединялись в высшем естестве
Из чувства отвращения к этой сцене.

5. Д в о р

Борису Пильняку

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленой,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из Бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала
Насмешница какая-то, как он.

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст,
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг.

И вот, порой, как ветер без провесу
Сдавал песок и свирепел и креп,
Отец ее, — узнал он, — был профессор,
Весной она по нем надела креп, —

И множество чего, — и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву
Дарованному от роду по гроб.

Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшись впервые к ней, он шел
Рассеянной, чем за город, свободней,
Чем с выпуска за школьный частокол.

Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы шурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.

В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупно пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.

Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.

Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.

Многолошадный, буйный, голоштаный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.

Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брендмауэр,
И каменщиков гнал на флигеля.

У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось, — рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.

Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь, и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте» —
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он со-свежу и точно стал втупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
«Ну, как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быть.

Ну, здравствуйте. Я думала — подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел — двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры — и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец попав под власть галиматьи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их впоследствии сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложаются, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих,
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.

Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.

Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.

Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.

Тут целовались, наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мга и гам,
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.

Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.

И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.

Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью вырастал рассвет.

И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.

Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.

Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Мариин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном клякс избороздила лист.

«Окно в лесах, и — две карикатуры,
Чтобы избежать даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем из показных витрин.

Мы рано, может статься, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но что с того? У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволие
Под кладбища, овраги и поля.

P. S. Все это требует проверки.
Не верю мыслям, — семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я, вероятно, их переменю».

6

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон-Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
Чем от предполаганья наугад.
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья,
И яростью перешибала грусть.

Три дня тоска, как призрак криволицый,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился.
Пошел в читальню, да и был таков.

А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи, —
И что ж нашел он на дверной скобе?

Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.

Он вытер пот. По смыслу этих литер
Он — сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.

Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суевьи
Шарахнулся от этих чувств простых.

Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смог, на месте ж — потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.

Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

Многолошадный, буйный, голоштаный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется — Да, да! Она в окне!

Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг?.. О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью,
Плитой с отлета о пролет перил!

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, всё ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ.

7

Прошли года. В них сбился бы Юпитер.
Дожди событий смыли с них число.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, —
Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцырь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь, съезжая вывесками вниз,
Москва с размаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тѣс ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил хрустенье сонной чаши
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врасяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем, что воздух родины заклят,
И половина края — люди кадра,
А погибать без торгу — их уклад.

Затем, что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут без видимых причин
Выносит солнце на аэростате
Пустого дня безрадостный зачин.

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай.

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И значит, место мне укажет, где бы,
Не увлекаясь в те года никем,
Не стыло бы малиновое небо
В потоках крови и шато д'Икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И всё б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И эта тень — пробел в календаре.

И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде не прямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных ступеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событье исчезает за стеной,
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И в небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предreshен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене среди мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенек,
Валютный фонд обледенелых недр.

Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли до тла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь, ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги
И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.

Как кратеры, дымились кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.

Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

Шли на-авось, покамест шлось, покамест
Не скашивала смаху вихря злость,
Пока салазки ладили с пайками,
Шли, падали, ползли, пока ползлось.

[8]

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки, и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.

То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель
Какую вещь в какой комиссариат.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мериллом римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант — казне.

В те дни у сыромятницких окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И раменьем, кой-где в огне осеннем,
Тянулся лес к брусам оконных рам.
Разделавшись с очередным храненьем,
Переходили к новым номерам.

Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В зрачках, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт, —
Он увидел Мариин лабиринт.

«А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Стояла тишь, и если б веткой хрустнуть,
Дворовый воздух бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплюснут,
Был небосклон холодный низколоб.

А за углом, смыкая круг лиловый
И вымораживая рубежи,
Носился террор в лодке китолова
И разливал по жилам рыбий жир.

Он думал: «Где она сейчас, сегодня?»
А сумрак вторил: «Шелк! Чулки! Портвейн!»
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
В расхожий фонд. Под опись. В фонд. В подвал».
Он думал: «Нет. О, будь я и гадалщик,
Я б ни за что к разгадке не зывал.

Не надо трогать этого. Не правда ль?
Как хорошо! Ты впущен на прием
К случайности; ты будущим подавлен,
И по двору гуляешь с ним вдвоем.

Неведомое! Вот оно, без спички
В любых потемках видное лицо.
Единственное имя в переключке,
Носимое невыбывшим жильцом.

Вызвезживало. Ночь играла в прятки
С амбаром. Взгляды отливали льдом.
«Там оказались ваших две тетрадки,
И снимок ваш попал в чужой альбом».

ПРИМЕЧАНИЕ:

В главке 4-й, в разделе, начинающемся со слов «С вокзала брат полпелся на урок», после строфы «Про этот ад, природный лицемер... ..Предпочитали с улицы селиться» — в альманахе «Ковш», кн. 4, 1926, стр. 125, следуют строфы, которыми и заканчивается публикация поэмы в этом альманахе:

Заглавья драм чернели на меди,
Грядущих бурь неясные начатки...
Вдруг незнакомец, шедший впереди,
Остановился на своей площадке

И вышел к свету, свесившись с перил,
И в тот же миг, и тоже по-актерски:
«Возможно ль!» нота в ноту повторил
Чужую фразу, вздрогнувши, Спекторский.

За ней был так же слепо повторен
И чуждый жест, и, как статисты в группе,
Они простерли руки с двух сторон
И обнялись на лестничном уступе.

**
*

Ты здесь, мы в воздухе одном,
Твое присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в газ лучей обернут.

Что по пригоркам опочив,
И сном борим, но не поборот,
Распарывает кирпичи,
Как потный чесучевый ворот.

Где ширью плит по-мотовски
Несутся бусинами блузки,
А с пыльных круч, как пауки,
Свисают узенькие спуски,

Где, утирая пот листвою
От взятых перед тем препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Есть жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

**
*

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами,

И в августовский свод из мрамора,
Заламываясь, как гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казенных замков очертанья.

Где две реки у ног горы,
Обнявшись, будто две сестры,
Обходят крутизну по кругу,
За юбки ухватив друг друга,
Меж ними крыш водоворот,
Они их переходят в брод,
Влегая грудью в древний город,
Как в жернова тяжелый ворот.
А в высоте, вонзаясь в ширь,
Как флюгера стоячий штырь,
Вращает небо на шарнире
Четырехгранный монастырь,
В отставке рыцарской состаря
Столбы обрушенных ворот,
Парит обитель Мцыри-Джвари,
И с поворота дрожь берет.

Но оторопь еще неожиданней
Нас проникает до кости.
Нам кажется, что рек слиянье
Могло бы не произойти,
Но происходит текста ради
В одной из юнкерских тетрадей,
Имея шансы до пяти
Противу ста других, почти
Как происшествие в пути,
И совершается в пространстве,
Как самая превратность странствий
И как случайность во плоти.

Шоссе уносит эту странность
За двухтысячелетний Мцхет,
Где Лермонтов уже не Янус
И больше черт двуликих нет.

Где он, как горы, дорисован
Не злою кистью волокит,
Но кровель бронзой бирюзовой
И пыльным малахитом плит.

Когда от высей сердце ёкает
И гор колышатся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила?
И там у Альп в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.

Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри, и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

Я верен всем былым мечтам,
А верен ли себе останусь,
Я сам узнаю только там,
Где Лермонтов уже не Янус.

Коджоры. Тифлис.
Дом Паоло.

Приложение второе

РАЗНОЧТЕНИЯ.

**ОПУЩЕННЫЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
РЕДАКЦИЯХ СТРОФЫ.**

ПРИМЕЧАНИЯ.

В первом томе собрания сочинений Б. Л. Пастернака помещены стихотворения 1912-1932 гг., включенные автором в следующие книги его стихов (в скобках указываются принятые нами в дальнейшем условные сокращения названий этих книг, а также альманахов, сборников и журналов, в которых были впервые опубликованы эти стихи):

1. *Близнец в тучах*. Стихи. Изд. «Лирика», Москва, 1914, 48 стр. («Близнец»);
2. *Поверх барьеров*. 2-я книга стихов. Изд. «Центрифуга», Москва, 1917, 94 стр. («Барьеры»);
3. *Сестра моя жизнь*. Лето 1917 г. Стихи. Изд. З. И. Гржебина. Берлин-Петербург-Москва, 1922, 136 стр.; второе издание — 1923, 115 стр. («Сестра»);
4. *Темы и варьяции*. 4-я книга стихов. Изд. «Геликон», Берлин-Москва, 1923, 121 стр. («Темы»);
5. *Избранные стихи*. Изд. «Узел», Москва, 1926, 31 стр. («Узел»);
6. *Две книги*. Стихи. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1927, 212 стр. («Две книги»); второе изд., ГИЗ, Москва, 1930, 208 стр.;
7. *Девятьсот пятый год*. Стихи. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1927, 97 стр. («905»); 2-е изд., ГИЗ, Москва, 1930; 3-е изд., ГИЗ, Москва, 1932; 4-е изд.: «1905. — Лейтенант Шмидт», ГИХЛ, Москва, 1937, 79 стр. («1905 — Л. Ш.»);
8. *Поверх барьеров. Стихи разных лет*. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1929, 163 стр. («Барьеры», 1929); 2-е изд., ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1931, 168 стр. («Барьеры», 1931);
9. *Избранные стихи*. Изд. «Правда» («Библиотека Огонька»), Москва, 1929, 32 стр.;
10. *Спекторский*. Поэма. ГИХЛ, Москва, 1931, 62 стр.;
11. *Второе рождение*. Стихи. Изд. «Федерация», Москва, 1932, 96 стр.; 2-е изд., «Советский Писатель», Москва, 1934, 95 стр. («Вт. рожд.»);
12. *Поэмы*. Изд. «Советская Литература», Москва, 1933, 167 стр. («Поэмы»);

13. *Стихотворения* в одном томе. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, 430 стр. («Однотомник 1933»); 2-е изд., изд. «Художественная Литература», Ленинград, 1935, 440 стр. («Однотомник 1935»); 3-е изд., «Худож. Литература», Ленинград, 1936, 440 стр. («Однотомник 1936»);

14. *Избранные стихотворения*. Со вступ. статьей Ан. Тарасенкова. (Серия «Библиотека Современных Поэтов»), ГИХЛ, Москва, 1933, 256 стр. («Избр. 1933»);

15. *Избранные стихи*. Изд. «Советская Литература», Москва, 1933, 247 стр. («Стихи 1933»);

16. *Избранные стихи и поэмы*. ГИХЛ, Москва, 1945, 187 стр. («Стихи 1945»);

17. *Poesie*. 1915-1957. Тг. А. Ripellino. Torino, 1957, 552 pp. (с параллельным русским текстом);

18. *Поэзия*. Избранное. Под ред. Н. Анатольевой, Н. Тарасовой и Г. Шишкина. Изд. «Посев» (Франкфурт на Майне), 1960, 422 стр.;

19. Корректированные гранки (с многочисленными поправками, исправлениями, сокращениями и дополнениями текста, сделанными рукой Б. Пастернака) уже набранной, но не опубликованной книги *Избранное*, 1957, Москва, 505 стр. + страницы, вклеенные автором. Фотостат этих гранок является основным и самым последним прижизненным источником для установления окончательной авторской редакции помещенных в книге произведений.

Стихи, помещенные нами в первом томе, впервые опубликованы в следующих альманахах, сборниках и журналах:

1. *Абракас*. Альманах. [Кн. I]. Петербург, 1922, октябрь [«Абракас»];

2. *Булань*. [Москва?], 1920, стр. 24-26 («Булань»);

3. *Весеннее контрагентство* муз. Изд. студии Д. Бурлюка и С. Вермель, Москва, 1915 [«Контрагентство»];

4. *Весенний салон поэтов*. Альманах. Изд. «Зерна», Москва, 1918 [«Салон»];

4а. *Всероссийский Союз Поэтов*. Второй сборник стихов. Изд. СОПО. Москва, 1922 («СОПО II»).

5. *Земля и фабрика*, альманахи, [книги] 1 и 2, изд. «ЗИФ», Москва 1927 и 1928 [«ЗИФ, 1», «ЗИФ, 2»];

6. *Киноварь*. Сборник стихов. Изд. Рязанского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, ГИЗ, Рязань, 1921 [«Киноварь»];

7. *Ковш*, альманахи. ГИЗ, Ленинград, книга 2, 1925; книга 4, 1926 [«Ковш», 1925; «Ковш», 1926];

8. *Красная Новь*. Альманах № 2. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1925 [«Альм. Кр. Новь»];

9. *Круг*, альманахи. Изд. артели писателей «Круг», Москва-Петербург [Ленинград], книга 1, 1923; кн. 2, 1923; кн. 5, 1925 [«Круг 1», «Круг 2», «Круг 5»];

10. *Лирень*. Сборник. Изд. «Лирень», Москва, 1920 [«Лирень»];

11. *Лирика*. 1-й альманах. Изд. «Лирика», Москва, 1913 [«Лирика»];

12. *Московские мастера*. Альманах [кн. 1], изд. «Жизнь и Знание». Ленинград-Москва, 1930 [«Моск. мастера»];

13. *Московский Альманах*. [Кн. 1], изд-во Писателей в Москве, 1923 [«Моск. Альманах»];

14. *Мы*. Сборник стихов. Изд. «Чихи-Пихи» при Всероссийск. Союзе Поэтов, Москва, 1920 [«Мы»];

15. *Пересвет*. Альманах. [Кн. 2], изд. Н. В. Васильева, Москва, 1922 [«Пересвет»];

16. *Писатели — Крыму*. Литературн. альманах. Изд. Комиссии по борьбе с последствиями землетрясения в Крыму, при Наркомздраве РСФСР, Москва, 1928 [«Писатели — Крыму»];

17. *Половодье*. Альманах. Изд. «Молодая Гвардия», Москва-Ленинград, 1926 [«Половодье»];

18. *Помощь*. Сборник. № 1. Крымск. ЦК Помгол. Симферополь, 1922 [«Помощь»];

19. *Пролетарий*. Альманах. Изд. «Пролетарий» [Харьков, 1926] [«Пролетарий»];

20. *Современник*. Сборник, № 1. «Современник», Москва, 1922 [«Современник»];

21. *Струги*. Кн. 1, изд. «Манфред», Берлин, 1923 [«Струги»];

22. *Стык*. Первый сборник стихов Московского Цеха Поэтов, Москва, 1925 [«Стык»];

23. *Трилистник*. Альманах 1. Московское Издательское Товарищество, Москва, 1922 [«Трилистник»];

24. *Южный Альманах*. Крымиздат, Симферополь, 1922 [«Южн. Альманах»];

25. *Явь*. Сборник. Изд. «Явь», Москва, 1919 [«Явь»];

26. *Вещь*. Временник. Берлин, 1922, кн. 1-2 [«Вещь»];

27. *Воля России*. Журнал. Прага, 1925, кн. 9-10 [«Воля России»];

28. *Жизнь*. Журнал. Москва, 1922, кн. 1 [«Жизнь»];

29. *Звезда*. Журнал. Ленинград [«Звезда», с указ. года и №];

30. *Красная Нива*. Еженедельн. журнал. Москва, 1926, № 20 [«Кр. Нива»];

31. *Красная Новь*. Журнал, Москва [«Кр. Новь», с указанием года и №];

32. *ЛЕФ*. Журнал. Москва-Ленинград [«ЛЕФ», с указ. года и №];

33. *Молодая Гвардия*. Журнал. Москва-Ленинград, 1926, кн. 7 [«Мол. Гвардия»];

34. *Новый ЛЕФ*. Журнал. Москва-Ленинград, 1927, кн. 1 [«Нов. ЛЕФ»];

35. *Новый Мир*. Журнал. Москва. [«Нов. Мир», с указ. года и №];
36. *Россия*. Журнал. Москва, 1924, кн. 3/12 [«Россия»];
37. *Русский Современник*. Журнал. Петроград-Москва, 1924, кн. 2 [«Русск. Современник»];
38. *Художественное Слово*. Временник Литературн. Отдела Наркомпроса, Москва, №1, 1920; № 2, 1921 [«Худ. Слово», 1920; «Худ. Слово», 1921].
39. *1873-1923: Валерию Брюсову*. Сборник, посвященный 50-летию В. Я. Брюсова, под ред. П. С. Когана, изд. КУБС'а В.Л.Х.И. им. Брюсова, Москва, 1923 («Сборник Брюсову»).

В разночтениях мы не указываем явных опечаток, весьма многочисленных в книгах и в публикациях в сборниках и журналах.

СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ

Стихотворения, для которых не указываются их первые публикации, были, возможно, опубликованы впервые в «Сестре моей жизни» (во всяком случае, нам неизвестны их первые публикации). Тексты, кроме особо оговоренных случаев, приняты нами по корректурным гранкам сборника 1957, с поправками рукой автора (в дальнейшем — «гранки 1957»), и по Однотомникам, но выверены по «Сестре» и всем другим публикациям.

Стр. 4-5. *Про эти стихи*. Впервые: «Худ. Слово», 1920, с несколько иной расстановкой строф:

сначала строфа «Галчонком глянет Рождество», а затем строфа «Буран не месяц будет мечь». До гранок 1957 строка 15 читалась:

Прояснит много из того,

Стр. 5-6. *Сестра моя жизнь*. Впервые: «Кр. Новь», 1922, кн. 2(6), стр. 101-102. До гранок 1957 строфы 3 и 4 читались:

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На милых сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

Стр. 7-8. *Зеркало*. Впервые: «Мы», стр. 33, под назв. «Я сам», без последних четырех строф и с разночтением с последующими публикациями в строке 8-й, приводимых ниже строф, исключенных в последней редакции автором:

Смятенья залить не могла.

До гранок 1957 после строки 12 («Мерцающий жаркий кварц») следовали еще три строфы:

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил
С комода до шума в стволах.

Зеркальная всё б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчи́л и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Строка 17 читается:

И вот, в гипнотической этой отчизне

Стр. 8. *Девочка*. До гранок 1957 предварялось эпиграфом:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.

Стр. 8-9. *Светаёт*. Название дано только в «Стихах 1945» и сохранено в «Гранках». Впервые — «Трилистник», стр. 31.

Стр. 11-12. *До этого всего была зима*. Разночтение в публикациях до гранок 1957:

Строка 17: Снег валится — и с колен —

Стр. 13. *Не трогать*. Впервые — «Вещь».

Стр. 17. *Душистую веткою машучи*. Впервые: «Мы», стр. 32, под назв. «Поцелуй», с разночтениями:

Строка 1: Душистую таволгой машучи,
Строка 8: Повисла, дрожит и робеет.
Строка 16: И не распрямится, хоть режьте.

Стр. 17-18. *Слома весла*. Впервые: «Салон», стр. 140. См. отдел «Первые редакции», стр. 375. Вторая редакция — до гранок 1957; разночтения с нашим текстом:

Строфа 2: Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошёной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Строка 12: Ночи на щелканье славок проматывать!

Стр. 19. *Свистки милиционеров*. Впервые: «Явь», стр. 41-42, под назв. «Уличная». См. «Первые редакции», стр. 375.

Стр. 26. *Заместительница*. Впервые: «Лирень», стр. 18. До гранок 1957 после строки 16 (заключительной) нашего текста следовало:

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и искры, как мюрид,
Не жмурия глаз снести.

И объявить, что не скакун,
Не шалый шопот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шопот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез — до слез!

Стр. 27. *Воробьевы Горы*. Впервые: «Кр. Новь», 1922, кн. 2(6), стр. 100.

Стр. 28-29. *Размолвка*. Название по «Стихам 1945» и гранкам 1957. Прежнее название: «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?»

Впервые: «Салон», стр. 139-140, без строф 3, 4 и 5 нашего издания и с разночтением:

Строка 7: Счастью в свете нет пощады.

Последние три строки стихотворения:

Счастье ярче и бурливей,
Чем задохшийся подсолнух,
Солнцем ринувшийся в ливень.

Разночтения в «Сестре»:

Строка 6: Может и не то стрястися.
(так и в «Однотомниках»)

Строка 20: Что еще тебе угодно?

Строка 32: Грусть заглохшую утишишь?
(так всюду до гранок 1957).

Стр. 29-30. *Распад*. Впервые — без названия — «Явь», стр. 43, с разночтениями:

Строка 9: По элеваторам, в дали
Строка 10: Пакгаузов, очумив крысят,
Строка 11: Пылают душные кули
Строка 14: Дойдут ли? Скоро ль Балашов?
Строка 20: Встает, скользит, ложится ниц.
Строка 22: Смеяться свету стало в труд.

Стр. 31-32. *Степь*. В «Узле», стр. 15, без нашей строфы 6-й и с разночтением:

Строка 25: Столетняя полночь стоит у пути,

До гранок 1957:

Строка 32: Льнул, жался и жаждал финала?

Стр. 32-33. *Душная ночь*. У нас — по тексту гранок 1957. Разночтение:

Строка 8: И в роже пух и бредил Бог.

Эта строка снабжена в Однотомниках авторским примечанием: «Не все догадываются, что рожа тут в значении болезни, а не уродливого лица».

Стр. 39-42. *Как усыпительна жизнь*. Разночтения:

Строфа 13, строка 3: Совсем немного надо, («Сестра»)

Строфа 13, строка 4: Достанет мух в окне. («Две Книги»)

Строфа 17, строка 3: По зову квизисан («Однотомник 1935»)

Стр. 42-43. *У себя дома*. В «Сестре» разночтение:

Строка 5: (Мякнет на днище ведра. —)

Стр. 44-45. *Елене*. Впервые: «Худ. Слово», 1921.

Стр. 49-50. *Давай ронять слова*. До гранок 1957 стихотв. предварялось эпиграфом:

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Разночтение:

Строка 37: Загадки зги заgrabной

Стр. 50-51. *Имелось*. Впервые: «Трилистник», стр. 76-77.

Стр. 52-53. *Послесловье*. Впервые, под назв. «Осеннее», без первых 2 строф: «Киноварь», стр. 14. Разночтения:

Строка 7: Этот пурпур червца от меня не зависел.

(«Две Книги», «Сестра»)

Строка 10: Целовал вас, задохнувшись в охре, пылью.

(«Сестра», «Узел», «Две Книги»)

Строка 16: По прудам, как багаж солнопеком заляпанных,

(«Сестра»)

Т Е М Ы И В А Р И А Ц И И

Стихотворения, для которых не указываются их первые публикации, возможно, были впервые опубликованы в одноименной книжке. Тексты, кроме особо оговоренных случаев, по гранкам 1957 и однотомникам, но сверены с «Темами» и с другими публикациями.

Стр. 59. *Маргарита*. Впервые — без названия, под цифрой «I», вместе со следующим стихотворением «Мефистофель», под общим названием «Два стихотворения из Фаустова цикла», — «Булань», с разночтением:

Строка 4: Бился, шелкал, царил и царил соловей

Стр. 60. *Мекфистофель*. Впервые — там же, с разночтением:

Строка 8: Летал по комнатным обоям.

В «Одномонике 1933» разночтение:

Строка 11: Растаскивали бестолковых

Стр. 61-62. *Шекспир*. До гранок 1957 разночтение в последней строке:

И в дверь, запусая в привиденье салфеткой.

Стр. 63-69. *Тема с вариациями*. В «Стихах 1945» под названием «Стихи о Пушкине». Там же впервые появился эпитаф. В гранках 1957 эпитаф сохранен, но восстановлено название «Тема с вариациями».

Стр. 63-64. *Тема*. Впервые: «Круг 1», стр. 7-8. До гранок 1957 разночтение:

Строка 15: Светло, как днем. Их освещает пена.

Стр. 64-65. *1-я вариация. Оригинальная*. Впервые, под названием «Пушкин»: «Абракадабра». (Поскольку этот альманах не был нами разыскан, установить, были ли разночтения, нельзя).

В «Круге 2» с разночтением:

Строка 8: Глушительный пылезенский дым.

В «Круге 2» и иная расстановка строф: сначала — «Где белое бешенство петель», а затем — «Где ввысь от утеса подброшен».

Стр. 65-67. *2-я вариация. Подражательная*. Впервые: «Круг 2», стр. 8-9, с разночтениями:

Строка 23 с конца: Но неподернуто-свинцов

Последняя строка: И замер на губах полипа.

Стр. 67. *3-я вариация*. Впервые, под назв. «Сакрокосмическая»:

«Круг 2», стр. 10.

Стр. 67-68. *4-я вариация*. Впервые, без названия и даже без выделения в отдельное стихотворение, только последние 10 строк (начиная с 3-й строки нашей 4-й строфы: «Мысль озарилась убийством»): «Круг 1», стр. 8.

Стр. 68-69. *5-я вариация*. Впервые, под назв. «Патетическая»: «Круг 1», стр. 8-9, с перестановкой первых двух строк нашей строфы 2-й.

Стр. 69. *6-я вариация*. Впервые под назв. «Пасторальная»: «Круг 1», стр. 9. В «Стихах 1945» разночтение:

Строка 1: В степи околевал закат.

Стр. 71-72. *Может статься так, может иначе...* Впервые — «СОПО II», стр. 15-16 нм. В первопечатном тексте семь строф вместо наших девяти. Отсутствуют строфы 6-я и 8-я (повторяющая вторую строфу). Другие разночтения:

Строка 12: До зари грешившей пурги.

Строка 16: Смутно звезды пьют частокол.

Строка 18: Будто воском ночь оплыла.

Строка 19: Лапой лампы на елке слепнет снег,

Строка 27: И сверканье пути на укатах, — ответ

Строка 28: На его вековое ау.

Строка 31: Что догадок родит в биографе

Имеются также разночтения в пунктуации.

Стр. 72-73. *Голос души*. По тексту «Тем», позже не перепечатывался.

Стр. 74-75. *Кремль в буран 1918 года*. Впервые: «Помощь» (нами этот сборник не разыскан; в нем — без названия); затем «ЛЕФ», 1923, кн. 1, стр. 53.

Стр. 76-77. *Мне в сумерки ты всё — пансионеркою*. В «Стихах 1945» под назв. «Воспоминание». Впервые — «СОПО II», стр. 13-14 нм. Разночтения.

Строка 11: Кутежный вихрь их гнул, валясь прожорливо

Строка 19: Холодных, звонких, с воли, — помнишь давешних

Строка 21: Да, да, любовь! Да, это надо высказать,

В отдельных строках другая пунктуация, например:

Строка 27: Но по ночам как просят пить, как пламенны

Стр. 78. *Разрыв: О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б*. Впервые: «Современник». (Этот сборник не был нами разыскан).

Стр. 82. *Рояль дрожащий пену с губ оближет*. В «Одномомнике 1933» разночтение или опечатка:

Строка 7: О поминанье дивное, кивни,

Стр. 85. *Так начинают. Года в два*. Впервые, с посвящением С. Буданцеву: «Жизнь».

Стр. 89. *В лесу*. Впервые — «Пересвет», стр. 46, со следующими различиями:

Строка 10: Тоска цикад сновала по щекам.

Строка 14: Меж тем, как выше, сгнув в янтаре,

Строка 15: Идут часы, их бой, как крик в эфире,

Строка 16: Их завели, поставив по жару.

Строка 20: В истому дня, как в синий циферблат.

Стр. 90. *Спасское*. Впервые — «Пересвет», стр. 47, под названием «Ее детство» и с посвящением Е. А. Дородновой, со следующим различием:

Строка 24: Видит, галлюцинируя, чья-то тоска.

Стр. 91-92. *Зимнее утро*. *Воздух седенькими складками падает*.

Впервые: «Южный Альманах», стр. 18-19, с различиями:

Строка 11: Дровни у сарая; варежки и спицы;

Строка 15: Дуло и мел? Не синей арифметикой ли

Строка 22: Дома и в домовом комитете

Строка 23: За оконный брус на мостовую выкинулась

Строка 25: Ватная и гарусная, байковая, фортковая,

Строка 27: Не допивши чаю, на рассвете свертывает

В «Южн. Альманахе» стихи опубликованы под назв. «Снег идет».

Стр. 92-93. *Как не в своем рассудке*. Впервые: «Киноварь», стр. 15, под назв. «Зимнее».

Стр. 93. *Я не знаю, что тошней*. Впервые: «Киноварь», стр. 16.

До гранок 1957 различие:

Строка 5: Что, пентюх, головотяп,

Стр. 94. *Ну, и надо ж было, тужась*. Впервые: «Киноварь», стр. 17. В «Однотомнике 1933» различие:

Строка 3: Чтоб сложить октябрьский ужас

Стр. 94. *Между прочим, все вы, чтицы*. Впервые: «Киноварь», стр. 18.

Стр. 95. *Весна: Пара форточных петелек*. Впервые: «Киноварь», стр. 13, под назв. «Весеннее»

Стр. 96. *Воздух дождиком частым сечется.* До гранок 1957 разночтение:

Стр. 9: Он зайдет и к тебе, и, развинчен,

Стр. 97. *Чирикали птицы.* Впервые: «Моск. Альманах», стр. XV, под назв. «Весна в Москве», с посвящением Н. Асееву, с разночтениями:

Строка 2: Сияло солнце на мокрой коре,

Строка 4: А сыпались, — гасли в вихре карет.

Строка 16: Что столько у женщин на свете ножей.

Стр. 98. *Сон в летнюю ночь: Всё утро с десяти до двух.* В «Однотомнике 1933» разночтение:

Строка 1: Всё утро с девяти до двух

Стр. 103-106. *Перед зимою.* До гранок 1957 этот цикл назывался: «Осень».

Стр. 103. *С тех дней стал над недрами парка сдвигаться.* Впервые вместе со следующим стихотворением «Потели стекла двери на балкон», под общим назв. «Над Камой», под цифрой «I», — «Жизнь», с разночтениями:

Строка 11: Не движутся дни, и казалось, вынут

(так и в др. публик. до гран. 57).

Строка 16: Настолько беспамятно звонко сквозной!

Стр. 103-104. *Потели стекла двери на балкон.* Впервые: «Жизнь», под общим заголовком — с предыдущим стих. — «Над Камой», под цифрой «II».

Стр. 104. *Но и им суждено было выцвести.* В «Двух Книгах» разночтение в последней строке:

Мы пройдем по природе — и рядом.

Стр. 105. *Весна была просто тобой.* В «Однотомнике 1933» разночтение:

Строка 4: Обоев, и войлок и хлам!

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

Нами принят текст гранок 1957 с проверкой по всем первым публикациям и перепечаткам в отдельных изданиях и собраниях стихотворений. Впервые опубликовано частями в альманахе «Половодье», стр. 160-161 (Вступление: «В нашу прозу...»), в «Пролетарии» (первые три раздела поэмы); в «Звезде», 1926, кн. 2, стр. 140-142 («Мужики и фабричные», в журн. без названия), в «Нов. Мире», 1926, кн. 2, стр. 31-36 («Морской мятеж», в журн. под назв. «Потемкин»), в «Кр. Ниве» («Студенты», в журн. под назв. «Похороны Баумана»). Разночтения:

Стр. 109. *Вступление:*

Строка 5: Еще спутан, как сон, первопуток, («Половодье»).

Стр. 111. *Отцы.* Строфа 4 главы («Барабанную дробь»), начиная со строки 5-й, в «Пролетарии»:

Крепостную Россию
Нельзя
Не узнать на рисунке,
А рисунок
Зовется
Россию после реформ.

Стр. 113. Строка 3 в строфе 12-й («Мы родимся на свет») в отдельных изданиях и однотомниках:

Подвечернее солнце.

Стр. 114. Глава «Отцы» в «Пролетарии» заканчивается строками, непосредственно следующими за нашим окончанием главы:

Эти марева днем,
Эти зарева городу ночью
Будут рваться,
Тянуться,
Мотать головой.
Будет ясно, как день:
В скользких кольцах
Столетью нет мочи,
И змея ни одной
От него не убраться живой.

Стр. 117. *Детство*. В строфе 12 («Тротуары в бегущих») строки 4-6 в «Пролетарии»:

Перекату пальбы
Отвечает
Пальба с баррикад.

Стр. 118. Последняя строфа главы в «Пролетарии» начинается строкой:

Со вчера идет снег.

Мужики и фабричные. Стр. 120. 5-я строфа в «Звезде» («Нагибаясь к саням») не заканчивается нашей строкой: «По мостовым городов»; после нее в «Звезде» еще следует:

Постепенно светает.
И тащится чаша по шторе.
Поезд режется с ней,
Как пилы разъярившийся диск.
И жемчужной зарей
Наши земцы,
Куря в коридоре,
Исчисляют убытки
И пишут правительству
Иск.
.
Лето... и т. д.

Кроме того, в той же строфе, строка 2, в «Звезде»:

Ели дышат

Морской мятеж. Стр. 124. После заключительной строки «И забрезжившим утром потух» нашей строфы «Солнце село. И вдруг», в «Нов. Мире» следует (стр. 32-33):

С мятежа в экипажах
Повеяло волей над флотом,
Смутно мысль зародилась,
Смутнее молва разнеслась:
Плоть от плоти рабочих,
Матросы им будут оплотом.
Знак к восстанью
Эскадре
В учении
Даст «Ростислав».

После заключительной строки («Вынесли в море щиты») следующей нашей строфы («Глыбы утренней зыби») в «Нов. Мире» стр. 33:

А на деке роптали.
Приблизившись к тухнувшей стерве,
И увидя,
Как кучится слизь,
Извиваясь от корч,
Доктор бряк наобум:
— Порчи нет никакой,
Это черви.
Смыть, и только, —
И — кокам:
— Да перцу поболее в борщ.

За обедом к котлу не садились... и т. д.

В строфе, начинающейся строкой: «—Недовольство?!», в «Нов. Мире»:

Строка 2: Кто кушать, — в камбуз,

Строка 7: Все пустились в смятенье

Стр. 125. Строфа «И восстанье взвилось», строка 3 в «Нов. Мире», стр. 34:

До высот кабестанов,

Студенты. Стр. 127. В «Кр. Ниве» («Похороны Баумана», стр. 4) начинается опущенными в дальнейших изданиях строками:

Несся вскачь, распахнувшись,
И ширилась знамени глотка,
Ветер вихрил доху
И дыханье
И стяга мохну.
Вдруг сорвись, сломя голову,
Дворник, как зверь, за пролеткой,
Что-то звяк,
Замахнулся,
И — ломом.
Тот идохнул.
Бауман!... и т. д.

Стр. 130. Строфа «А на площади группа» в «Кр. Ниве» заканчивается:

Проявлено,
И схоронено вечностью
Разом,
Вразброс.

Стр. 132. *Москва в декабре*. Строфа «И в чадугу за стеклом» заканчивается в гранках 1957 строчками:

Скачут
Фигуры драгун.

Но эти строчки зачеркнуты автором и заменены теми, которые и приняты нами. До гранок 1957 последняя строка:

Куртки драгун.

Строка 3-я в строфе «Шашки. Бабы платки» до гранок 1957:

Бакенбарды и морды вогулок.

Л Е Й Т Е Н А Н Т Ш М И Д Т

Нами принят текст гранок 1957, за исключением речи на суде лейтенанта Шмидта (в главке 8-й третьей части). Эта речь публикуется нами по тексту книги 5-й журн. «Нов. Мир» за 1927, стр. 46-47, т. к. позднее сокращение этой речи автором вызвано отнюдь не художественными соображениями. Текст гранок 1957 сверен с журнальными публикациями, отдельными изданиями поэмы и с однотомниками. Но в отдельных изданиях поэм «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» весьма много опечаток и пропусков отдельных строк, вызванных также отнюдь не художественными соображениями. Так, в книге «1905 — Л. Ш.» исключены, напр., такие строки главки 6-й первой части поэмы:

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!

и строки:

И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт!

В «Стихах 1945» целиком исключены главки 6-9 второй части и главки 4 и 6 третьей части поэмы. Правда, в данном случае это сокращение могло быть продиктовано самим характером издания — избранные стихи и поэмы.

Впервые поэма опубликована частями, в значительно отклоняющейся от окончательной редакции, в журналах (указываем их по порядку глав поэмы): «Нов. Мир», 1926, кн. 8-9, стр. 33-42; «Молодая Гвардия», 1926, кн. 7, стр. 3-5; «Нов. Мир», 1927, кн. 2, стр. 29-33 (отрывок из той же части также: «Нов. ЛЕФ»), кн. 3, стр. 22-27,

кн. 4, стр. 30-35, кн. 5, стр. 39-47 (окончание поэмы). В журналах отдельные главки (кроме окончания поэмы в кн. 5 «Нов. Мира» за 1927 г.) имели названия.

В «Нов. Мире», 1926, кн. 8-9, стр. 33, поэма начиналась с «Посвящения»:

Посвящение

Мельканье рук и ног, и вслед ему:
«Ату его, сквозь тьму времен! Резвей
Ревя рога! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей». Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень — Сатурн.
Вращающийся возраст, круглый след.
Ему б уплыть стихом во тьму времен;
Такие вклады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог: ату!
Естественный, как листья леса, стон.
Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, стволами, сном ветвей
И ветром и травкою мне и ей.

Затем следуют главки 1-я — «Встреча» и 2-я — «Первое письмо», заканчивающаяся, после заключительной строки нашего текста («Одернуть зонт и очутиться рядом»), строками:

Вот оправданье беспричинной дерзости.
Вот отчего я не кажусь вам фатом.
Но надо кирпичу с карниза сверзиться,
Чтоб догадались люди: это фатум.

После этого следует изъятая при последующих переизданиях главка:

3. Письмо о дрязгах

Ваш отклик посвящен делам.
Я тем же вам отвечу
И кстати опишу бедлам,
Предшествовавший встрече.

Я ездил в Керчь. До той поры
Стоял я в Измаиле.
Вдруг — телеграмма от сестры —
И... силы изменили.

Четыре дня схожу с ума,
В бессилии чувств коснею.
На пятый, к вечеру — сама.
Я объясняюсь с нею.

Сестра описывает смерч
Семейных сцен и криков
И предлагает ехать в Керчь
Распутывать интригу.

Что делать! Подавив протест,
Таю сестре в угоду,
Что обнаружусь мой отъезд,
Мне крепости три года.

Помешали. Продолжаю. Решено:
Едем вместе. Это мне должно зачесться.
В гонке сборов и пока сдаю судно,
Закрывают отделение казначейства.

Ночь пропитана, как сыростью, судьбой.
Где б я был теперь, когда же в путь не бросься?
Для сохранности решаюсь взять с собой
Тысячные деньги миноносца.

В Керчь водой, но по Дунаю все свои.
Разгласят, а я побег держу в секрете.
Выход ясен: трое суток толчен
Колеями железнодорожной сети.

В Лозовой освобождается диван.
Сплю как мертвый от рассвета до рассвета.
Просыпаюсь, и спросонок за карман.
Так и есть! Какое свинство! Нет пакета.

Остановка. Я — жандарма. Тут же мысль:
А инкогнито? — Спасаясь в волны спячки.
По приезде в Киев номер. Пью кумыс
И под душ и на извозчике на скачки.

Странно, скажете. К чему такой отчет?
Эти мелочи относятся ли к теме?
Крупно только то, что мелко. Так течет,
Распопаясь бессонной летней ночью, время.

В журнале отсутствует всё начало (5 строф, кончая строкой «Он сызна под кран») нашей главки 3 (в «Нов. Мире» — 4-й). Затем, со строки «Давайте посчитаемся» — без разночтений, под названием «Письмо из Севастополя».

Главка 4 (в журн. 5-я — «Стихия») с разночтениями: после нашей первой строфы в «Нов. Мире» следует:

Глаза протереть! Оклемасться!
О, юношеская бурность
Курсисток! О, фурий-мишурниц
Старушечье — чур вас!
Щемящая грусть прокламаций.
О, море! О, рев о пощаде!
И грохот безумных и здравых
И левых и правых!

В той же главке, после заключительной строки 3-й строфы («Клянитесь! Клянемся!»):

О, кучи песку и асбеста,
Летящие с берега в дом
К садам, становящимся задом,
Ветвям и фасадам!

О, ветер в ограде! Пресытись,
Ты рыщешь с искромсанной клятвой.
Клянитесь! Клянемся! — Клянитесь!
Как тени велят вам!

О, вихрь, обрывающий фразы,... и т. д.

Затем следует изъятая в окончательной редакции главка:

6. Мужское письмо

Здравствуйте, моя подруга!
Здравствуйте, моя опора!
Сделано большое дело,
Это дело сделал я.

Только б не сорваться с круга!
В эти дни я сдвинул гору,
И теперь, признаюсь смело,
Я люблю вас, жизнь моя!

В этом нет для вас позора.
Всем любовь мою откройте.
Я теперь в чести и славе.
Ваш поклонник знаменит.

Можете сказать, и вправе,
Вас боготворит не пройда,
Но предмет статей и споров
И поборник правды, — Шмидт.

В этот холод, в эту застыдь,
В эти дни торжеств и паник,
Где, как не у вас, дружочек,
Где, о, где набраться сил?

И — о как же мне не хвастать!
Я — пожизненный избранник
Севастопольских рабочих
После речи у могил.

Речь известна по газетам
И вошла в анналы края.
Пробудил ли вид заглавья
Что-нибудь у вас в груди?

Ах, я в вас души не чаю
И живу заемным светом...
Мы добьем самодержавье —
Что еще-то впереди?

После этого в журнале следует главка 7 (наша — 5-я), под назв.
«Марсельеза» и с эпиграфом:

Артиллерист стоит у кормила.
(Поверх барьеров).

Последняя строфа этой главки в журнале:

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
Саперы месяц слякоть, и гуляют егеря.
Не толкайтесь, пожалуйста! — На действительных началах
Неприкосновенности личности — ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, скрипят о причалы
Дунайских пароходств и интендантских тунеядств.

Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.
Доношу о распушенности в Брестском и Белостокском
Полках, выражающейся в шатаньи по ночам
И езде на извозчиках из подражання флотским,
По халатности начальства, не заботящегося ни о чем.

В главке 8 (наша — 6-я) — «Ноябрьский митинг» — в журнале разночтения: вместо строки 1-й строфы 3-й нашего собрания («Айва, антоновка, кизил»):

Айвы гниющие огни,
Упав, гадают по грязи
О, вероятье таскотни.
Действительно, лишь вихрь дохни,
И завтра же выпадет снег в Симеизе.
И море Черное вблизи... и т. д.

После заключительной строки этой же строфы («Сквозной, ристалищной тоски»):

Кольцо в кольцо, растущий вширь
Пахами под ревуший цирк.

Строки 5-7 последней строфы главки:

И вечно тянется рука
В столетий изморозь сырую,
Зверинец верой дрессируя,

Вслед за этим в журнале идет главка 9 (у нас — 7-я) — «Восстанье», заканчивающаяся опущенными в последующих перепечатках строками (после нашей заключительной: «Восстанья присказка вилась»):

Гирляндой, версты огибавшей,
По вантам бился переклик,
Опрашивали экипажи,
Поддерживали, берегли.

Флажки шептали: смерть драконам,
Но новый ветер, налетев,
Сменял их верными законам
Или сулил нейтралитет.

Когда ж сменилась пляска знаков
Несением ночных дежурств,
Один Потемкин и Очаков
Остались верны мятежу.

А тот, в совете, раскорякой
Средь сотен вопрошавших глаз
Шептал, как флаг: Петров с Варяга,
В двадцатый или сотый раз.

До гранок 1957 строфа 3-я главки 7-й («Шагах в восьми от адмирала») начиналась:

Шагах в восьми, в полоборота,
В струенъи лент, как в выпелах,
Верста матросских подбородков
Гулявших взглядами жрала.
И вот, едва ушей отряда... и т. д.

Наша главка 8-я («Вообрази, чем отвратительней») в «Мол. Гвардии» — под назв. «Письмо к сестре». После нашей заключительной строки главки («На брата в выпачканной блузе») в журнале следует:

Прервал и жалею.
Усилилась качка.
На то ли я
Ловлю ее плеск,
Чтоб болеть тем полней?
Неужели
Недели пройдут в этой пытке?
Острог — санаторий
Пред этой пловучей
Покойницкою на качелях!
Добро бы хоть каторга!
Можно б от диспутов выспаться.
Добро б гробница!
Хеопс утопает в удобствах.
Но обе — в подобые!
Весь день — электричество.
Исподволь
Мне помпою воздух качают,
Чтоб я не задохся.
Нет сил моих, Ася!

Всей шлепающей громадою
Гиганта судна
Бескуражен с бухты-барахты.
Едва чебурахнет,
И падаю духом,
И паденью —
Ни дна,
Ни скончанья,
Как дням и качанью гауптвахты.
И еканье сердца
Сливается с дерганьем якорным,
И чудится,
За громыханием волн,
Временами,
Что не броненосец,
Лягаясь,
Становится на корму,
А дыбится жизнь
И пугается
Воспоминаний.
Не штаба страшусь,
Обещаются в пятницу выпустить.
За речь — оказалось.
Но на сердце точно ободья,
И трудно дышать мне,
И чувствую — нет во мне гибкости.
Какой я политик,
И что меня ждет на свободе?
А вдруг я герой обреченный?
Еще обстоятельство:
Я вижу, ты машешь рукой,
Отгадала, мол:
Влюбчив!
Оставь, не до шуток.
Положим, я попусту тратился.
А эта —
Грядущего детище, Ася, голубчик!
Я века предвестье люблю в ней.
Еще не ослабили
Ни тягости брака,
Ни бездна изведанной боли.
Нежданная радость:
Велят собираться и — на берег,
Поздравь меня, Ася.
Я, кажется, снова на воле.

Дальнейшие главки — до конца поэмы — в «Нов. Мире». Главка 9 (11-я — «Бегство жителей» — в журн.) и 1-я части 2-й (12-я — «В экипажах» — в журн.) — без разночтений. Но эта же главка 1-я части второй опубликована в «Нов. ЛЕФ'е», стр. 24-25, под назв. «14 ноября», с разночтениями:

Строфа 1, строка 1 : Взвившись из-за освещенной почты,
Строфа 1, строка 3 : Без заботы, несмотря на то, что
Строфа 1, строка 9 : Вот он бьется, обваривши харю,
Строфа 2, строка 8 : Этот сильно выеденный мрак.
Строфа 2, строка 16 : Угодившей ложкою в галдеж.
Строфа 2, строка 21 : И снося раскатами догадки
Строфа 2, строка 22 : И смывая со всего двора
Строфа 3, строка 2 : Буря покидает берега.

Последнее четверостишие главки в «Нов. ЛЕФ'е»:

Всё же раз послышалось: эскадра,
И о том, чтоб браться, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

Наша главка второй части 2-я, в «Нов. Мире» — «Тяжелая ночь», после нашей заключительной строки («Не убеждайте. Я не сдамся») имеет продолжение:

Нет. Я объеду города
И пробужу страну от спячки.
И лишь тогда пушу суда
На помощь всероссийской стачке.

Но так — безумие одно —
Судно против эскадры целой. —
Нам столкнуться не дано,
Да и не ваше это дело».

Пожатья рук. Разбор галош.
Щелчок английского затвора.
Плывущий за угол галдеж.
Поспешно спущенные шторы.

И ночь. Шаганье по углам.
Выстаиванье до озноба
С душой, разбитой пополам,
Над требухою гардероба.

Отказ от планов. Что ни час,
Растущая покорность лани.
Готовность встать и сгинуть с глаз
И согласиться на закланье.

И, наконец, тоска и лень,
Победа чести и престижа,
Чехлы, ремни, — и ночь и день.
И вечер, о котором ниже.

Главка 3, в журн. 14-я «Безоглядочное решение», с разночтениями: после строки 20-й строфы 4-й («По размытым рывтинам садовых гряд») в журнале следует:

С сердцем, колотящимся в ушах
В лад шагам и обшлагам бушлатов.
В наспех стянутых доспехах... и т. д.

Главка 4, в «Нов. Мире» 15-я — «Северный рейд», в журнале начинается:

Стихла буря. Дождь сбежал
Ручьями с палуб по желобам.
Ночь на исходе. И ее
Тронуло небытие.
В зимней призрачной красе... и т. д.

После заключительной строки («Но чем он спанталыку сбит?») 2-й строфы главки в журнале:

Где след команд? — Неотвержимы,
Споили в доску, и к утру,
Приняв от спившихся в дрезину
Повинную, спустили в трюм.

Теперь там обморок и одурь.
У пушек боцмана. К заре
Судам осталось прятать в воду
Зубовный скрежет якорей.

А там, где грудью встали люди,
Где не загон для байбаков,
Сданы ударники к орудьям,
Зевают пушки без бойков.

Зато на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска... и т. д.

После заключительной строки 5-й строфы главки («Чтоб вихрем гари в ночь нестись»):

Но это только первый ярус.
А сверху бухту бунтарей
Амфитеатром мерит ярость
Объятых негой батарей.

Главка 5 (в журнале 16-я — «Поднятье флага»), с разночтениями: 2-я строка 2-й строфы («Со дна души рядна») в журнале отсутствует. После 4-й строки 3-й строфы в «Нов. Мире» следует:

Сигналы: «Виджу» дальних мачт
Рябят — (две, три, четыре, пять) —
Рябят — (не счесть, чего желать!) —
Рябят седую гладь.

Простор, ощерясь мятежом,
Топорщится ежом.

Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.

Как красный флаг, как флотский знак
К открытию огня.
Вверх и наотмашь, поперек,
Как сабля от стегна.

И мачты рейда, как одна,... и т. д.

Главка 6 (в «Нов. Мире», 1927, кн. 4 — 17-я, «Обход эскадры») в журнале начинается:

Вдруг взоры отвлеклись к затону.
Предвидя, чем грозит испуг,
Как вены, вскрыл свои кингстоны,
Шел ко дну минный транспорт «Буг».

Он знал, что от его припадка
Смесился бы чертеж долин:
Всю левую его лопатку
Пропитывал пироксилин.

Полуутопший трапецоедр
Служил свидетельством толпе,
Что бой решен, и рыба роет
Колодцы под смерчи торпед.

Что градоносная опасность,
Нависшая над кораблем,
Брюхата паводком снарядов,
И, чернь по кубрикам попрятав
Угрозой, водкой и рублем,
Готова, не стерпевши, хряснуть,
Как мокрым косарем кочан,
Арапником огня по трапам;

Что их решили взять нахрапом,
И рейд на клетки разделен.

Когда с остальными увидел и Шмидт,... и т. д.

После нашей заключительной строки 6-й главки («Обрывистый город в шпалерах маслин») в журнале следует:

Поднявшись над скопом
Слепых остолопов,
Ворочая шеей оград и тумб,
Летевший навстречу ему Севастополь
Следил за ним
За румбом румб.

Главки 7, 8 и первое четверостишие главки 9-й входят в журнале в ту же главку 17-ю. Разночтения: главка 7, после первой строфы, кончающейся строкой «Голодных глаз», следует:

Он не спешил. На миноносце.
Щадили винт.
Он чуть скользил, а берег неся,
Как в фордевинд.

И вот, стругая воду, будто... и т. д.

Главка 8: после первой строфы, кончающейся строкой «Освобожденных каторжан», в журнале:

Снова по рейду и по реям
Громко пронесся красный вихрь:
Бывший «Потемкин», теперь — «Пантелеймон»,
В освобожденных узнал своих.

Снова, приветствуем экипажем,... и т. д.

Со строки «Мгновенный взрыв котельной» (вторая строфа нашей главки 9-й) в «Нов. Мире» начинается главка 18 — «Гибель «Очакова», причем в эту 18-ю главку входит и наша главка 10-я. После заключительных строк нашей 10-й главки — и всей второй части поэмы — в журнале следует:

Уже давно затих обстрел.
Уже давно горит судно
В костре. Уже давно быстрее
Летят часы. Затих
С последней вспышкой треск шутих,
И крейсер догорел.

Глухая ночь. Чернильный ров
Морской губы. Слепой покров
Бегущих крыш и катеров
В чехлах прожекторов.

Вслед за этим в журнале идет 1-я главка третьей части поэмы, в качестве главки 19-й — «Последнее письмо».

Окончание поэмы, без разделения на главки, в качестве «второй части» или «главы 20-й» (наша третья часть, начиная с главки 2-й) — в «Нов. Мире», 1927, кн. 5, с разночтениями:

Главка 5, после строки 4 («С пригретых солнцем крыш») строфы 3-й главки:

Без всякого вниманья
В тумане различишь,
Как к ракушкам в лимане
Кубышками льнет камыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр... и т. д.

(Последние три строки главки 6-й — по тексту гранок 1957: до этих гранок они заменялись строчкой точек).

Главка 7: после нашей заключительной строки главки («Пики, гики, крики: Осади!») в журнале еще следует:

Час спустя опять назад с гауптвахты
Той же кучей в сорок три шей,
К лапкам обвинительного акта,
В смертный шелест сто второй статьи.

Главка 8: заключительная речь Шмидта, как уже сказано выше, публикуется по тексту «Нов. Мира». В позднейших публикациях изъяты строфы «Как непомерна разница», «Едва народ по-новому», «Всё было вновь отобрано» и «Поставленный у пропасти».

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Нами принят текст гранок 1957 и однотомиков, проверенный и дополненный по одноименной книге поэта и позднейшим публикациям, а также по первым публикациям в альманахах и журналах, в книжке «Близнец» и пр. Посвящения отдельных стихотворений и целых разделов книги восстановлены по «Барьерам» 1929 и 1931.

Стр. 177. *Февраль. Достать чернил и плакать.* Впервые: «Лирика», с посвящением К. Локсу и разночтениями: в «Лирике»:

Строка 7: Меня б везли туда, где ливень
Строка 8: Сличил чернила с горем слез,
Строка 11: Где грусть за грустию обрушит
Строка 12: Февраль в бессонницу очей.
Строка 13: Крики весны водой чернеют
Строка 14: И город — криками изрыт,
Строка 15: Доколе песнь не засинеет
Строка 16: Там, над чернилами — навзрыд.

В «Стихах 1945»:

Строка 10: На ветках тысячи грачей,
Строка 11: Неистовствуя, как кликуши,
Строка 12: Галдят торговок горячей.
Строка 13: Кругом проталины чернеют,
Строка 14: И город карканьем изрыт,

Стр. 177-178. *Как бронзовой золой жаровень.* Впервые: «Лирика». См. «Первые редакции», стр. 377.

Стр. 178. *Сегодня мы исполним грусть его.* Впервые: «Лирика». См. «Первые редакции», стр. 377-378.

Стр. 178-179. *Когда за лиры лабиринт.* Впервые: «Близнец», стр. 9-10. См. «Первые редакции», стр. 378. В «Близнеце» под назв. «Эдем». До гранок 1957 разночтение:

Строка 9: Он вырастет над пришлецом

Стр. 179. *Сон.* Впервые — без названия — «Близнец», стр. 13-14 — см. «Первые редакции», стр. 378-379. Впервые в окончательной редакции: «Звезда», 1928, кн. 8, стр. 57.

Стр. 180. *Я рос. Меня, как Ганимеда.* Впервые: «Близнец», стр. 15-16.

Стр. 180. *Все наденут сегодня пальто*. Впервые: «Близнец», стр. 17-18, с разночтениями:

Строка 1: Все оденут сегодня пальто
Строка 4: Что я снова ненастьями запил.
Строка 6: Запрокинувшиеся изнанкой; —

Затем, после нашей второй строфы, следует пропущенная в дальнейших публикациях строфа:

О восторг, когда лиственных нег
Бушеванья — похмелья акриды,
Когда легких и мороси смех
Сберегает напутствия взрыды.

Строка 9: Ты оденешь сегодня манто,
Строка 10: И за нами зальется калитка,

Стр. 181. *Сегодня с первым светом встанут*. Впервые: «Близнец», стр. 31-32, под названием «А. Л. Ш.» — см. «Первые редакции», стр. 379-380.

Стр. 181-182. *Вокзал*. Впервые: «Близнец», стр. 20-21 — см. «Первые редакции», стр. 380-381. В окончательной редакции впервые: «Звезда», 1928, кн. 8, стр. 57-58.

Стр. 182-183. *Венеция*. Впервые: «Близнец», стр. 23-24. См. «Первые редакции», стр. 381-382. В новой редакции впервые: «Звезда», 1928, кн. 8, стр. 58 (в той же редакции: «Барьеры» 1929 и 1931, «Однотомники»). Разночтения этой новой редакции с принятой нами (по «Стихам 1945» и гранкам 1957): после нашей 4-й строфы, оканчивающейся строкой: «Оглядывался, как беглец», — следует строфа:

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гондолы рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

За лодочную их стоянкой... и т. д.

С авторским примечанием к слову «гондолы»: «В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение».

Стр. 183-184. *Зима*. Впервые: «Близнец», стр. 36-38 — см. «Первые редакции»; стр. 382-383. В последней редакции впервые: «Звезда», 1928, кн. 8, стр. 59, с разночтением:

Строка 15: Иль, поссорившись с собственной тенью,

Стр. 184. *Пиры*. Впервые: «Близнец», стр. 30, под назв. «Пиршества» — см. «Первые редакции», стр. 383-384.

Стр. 184-185. *Встав из грохочущего ромба*. Впервые: «Близнец», стр. 18-19 — см. «Первые редакции», стр. 384. До гранок 1957 разночтение:

Строка 12: Как ночь, на объясненья скуп.

Стр. 185. *Зимняя ночь*. Впервые: «Близнец», стр. 25 — см. «Первые редакции», стр. 385, без названия («Не подняться дню»). Окончательная редакция впервые: «Нов. Мир», 1928 кн. 11, стр. 21. Сравни с «Повестью» во 2-м томе нашего собрания.

Стр. 189. *Предчувствие*. По сборн. «Барьеры», 1917. В дальнейшем не перепечатывалось.

Стр. 189-190. *Возможность*. В кн. «Барьеры», 1917, под назв. «Фантазия», с разночтениями:

Строка 7: Спит, как убитая, Тверская, только кончиком

Строка 8: Сна высвобождаясь, точно сонной ручкой.

Строка 12: Поцелуй посылает ей лайковой метелью.

Стр. 192-193. *Петербург: Как в пулю...* Нами принят текст «Гранок 1957». Разночтения:

Строка 1: Как в пулю сажают повторную пулю («Узел»)

Строка 2: Или жарят по пламени свечи, («Узел»)

Строфа 5: Он тучами был, как делами, завален.

В распоротый пасмурный парус

Ненастья — щетиною ста готовален

Врезалась царская ярость. («Однотомники»)

Строка 19: Как в кальку, щетиною ста готовален

(«Стихи 1945»)

Стр. 195-196. *Оттепелями из магазинов*. В последней редакции впервые: «Нов. Мир», 1928, кн. 12, стр. 38.

Стр. 196. *Зимнее небо*. До гранок 1957 разночтения в строфе 3-й:

Строка 9: Воздух железом к ночи прикован.

Строка 11: Что, как орбиты змеи очковой,

Стр. 198-199. *Метель*, 1. Впервые: «Контрагентство». Разночтения:

Строка 16: Без жизни, о вьюга, бледней полотна!

(«Стихи 1945»)

Строка 16: Без голоса, Вьюга, бледней полотна!

(«Контрагентство»)

Стр. 200. *Урал впервые*. По тексту «Стихов 1945» и гранок 1957. Разночтение:

Строка 18: Мохнатых династов, вступали

Стр. 200-201. *Ледоход*. Впервые — «Моск. Мастера». Нами принят текст гранок 1957. См. другую редакцию в «Первых редакциях», стр. 385-386 (там — редакция 1945, «Стихи 1945»). Строфа 4 и 5-я в первоначальной редакции:

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лягз и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916-1928.

Самая ранняя редакция — 1916 г. — нами не найдена.

Стр. 202-203. *Весна: 2. Весна! Не отлучайтесь*. До гранок 1957 первые три строфы в другой редакции:

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы —
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички, —
Им, ветреницам, холодно.

В гранках 1957 строка 4-я набрана:
Плывут, крича с три короба.

Рукой автора эта строка зачеркнута и вписан принятый нами новый текст этой строки.

Стр. 206-207. *Три варианта. 1. Когда до тончайшей мелочи*. До гранок 1957 разночтение:

Строка 8: Струится веснущатый пот.

Стр. 209. *После дождя*. Впервые: «Моск. Мастера».

Стр. 209-210. *Импровизация*. Впервые: «Контрагентство», без названия. Разночтение:

Строка 12: У лодки. И грызлись птицы о локте.

Стр. 210-214. *Баллада*. Первая публикация не разыскана. Строфы от второго повторения строки: «Впустите, мне надо видеть графа» — до строки: «Тонули крушенья шаги и слова» включительно — впервые — «Нов. Мир», 1929, кн. 1, стр. 107-108, под названием «Из баллады».

Стр. 214-216. *Мельницы*. В новой редакции впервые: «Нов. Мир», 1928, кн. 12, стр. 39-40. В «Стихах 1945» разночтения:

Строка 10: Внизу спросонок пруд маячит,

Строка 12: За пазуху початки прячут.

Стр. 218-219. *Из поэмы*, 1. Впервые: «Нов. Мир», 1929, кн. 1, стр. 108-109, под названием «Из неоконченной поэмы».

Стр. 219-220. *Из поэмы*, 2. Впервые: «Нов. Мир», 1928, кн. 12, стр. 41, под названием «Отрывок из неизданной поэмы».

Стр. 220-222. *Марбург*. Первый вариант: «Барьеры» 1917 — см. «Первые редакции», стр. 386-388. Вторым, сокращенным, вариант — «Узел», стр. 7-8, начинается со строки: «Плитняк раскалялся, и улицы лоб» — и совпадает с первой редакцией, за исключением строк (первой редакции):

Строка 37: А в зарослях парка глаза хоть выколи,

Строка 40: В тот день, как демон, глядела земля,

После строки 47 первой редакции в «Узле» следует строфа:

Достаточно тягостно солнце мне днем,

Что стынет, как сало в тарелке из олова,

Но ночь занимает весь дом соловьем,

И дом превращается в арфу Эолу.

Третий вариант впервые: «Звезда», 1928, кн. 9, стр. 34-36. Неоднократно перепечатывался, в том числе в однотомниках. Разночтения его с нашим текстом: после наших строф — 1-4-й, после строки: «Я вон вырывался, чтоб не разреветься» — следуют строфы:

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,

Был невыносим мне. Он крался бок-о-бок

И думал: «Ребьячя зазноба. За ним,

К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз» — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег»,
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Затем, за строфой 9-й нашего текста, после строки: «Всё —
живо. И всё это тоже — подобья» — следуют строфы:

О, нити любви! Уложи, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описание!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как улы, курящихся дупел.

Нет, я не пойду туда завтра... и т. д.

Четвертый вариант, с включением строф: «Инстинкт прирожденный», «Шагни и еще раз», «Научишься шагом» и «Одних это всё ослепляло»; и с исключением строф: «О, нити любви» и «Когда-то под рыцарским этим гнездом» — в «Стихах 1945». Разночтения: Строфа 10, строка 3 нашего текста:

Вокзальная сутолока не про нас

Строфа 12-я нашего текста — в «Стихах 1945»:

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Принятая нами последняя (5-я) авторская редакция — наиболее краткая — в гранках 1957.

Стр. 223. *Другу*. Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 4, стр. 63.

Стр. 223-224. *Анне Ахматовой*. Впервые: «Кр. Новь», 1929, кн. 5, стр. 159-160, с разночтениями:

Строка 7: Их шорох настагает с первых строк

Строка 8: И слышится при каждом новом слоге.

Строка 9: На них весна, но за город нельзя.

Строка 11: Глаза за кройкой в сумерки слезя,

Предпоследняя строфа говорит о стихотворении Ахматовой «Лотова жена» («Из Книги Бытия», II):

...Взглянула, и скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Стр. 225. М. Ц. Очевидно, Марине Цветаевой. Впервые: «Кр. Новь», 1929, кн. 5, стр. 158-159, без названия-посвящения, с разночтениями: строфа 1-я, как в нашем собрании; за нею следуют строфы:

Вода бежит со щек трущоб,
Из труб выталкивает втулки
И размышляет, что б еще б
Пробулькать в уши переулка.

Мне всё равно, какой покров
Сурово льнет к моим покровам,
Но быть есть быть, когда дерёв
Не разглядеть в пару дворовом.

Затем идет наша строфа 2-я, с разночтением в строке 1 (5):

Стволы в обмякших армяках

Наша строфа 3-я в журнале идет вслед за нашей строфой 4-й.

Строка 16: Когда он плесенью окутан.

Стр. 226-227. *Мейерхольдам*. Впервые: «Кр. Новь», 1929, кн. 5, стр. 160-161, с разночтениями: после нашей строфы 3-й («... — Я игру в кошки-мышки пойму») следует, вместо строфы 4-й нашего собрания:

Обмирающей замарашкой
Триумфальная сядет за стол.
И, взглянув на сверток размякший,
Я припомню, зачем я зашел.

Строка 17: Я скажу, что от чувств нет отбою,

Строф 7 и 8-й в журнале нет, и стихи заканчиваются строфой:

Что, как пьесою неповторимой,
Жизни жухлою краской дыша,
Вы всего себя стерли для грима,
Имя этому гриму — душа.

Стр. 227-228. *Пространство*. Впервые: «ЗИФ», 1, стр. 341-342. Разночтения:

Строка 19: Цветные, как лес, медяки
Строка 20: Пропитанных мглой сыроежек!
Строка 28: В тоске по стекле и цементе.
Строка 39: Домов освещенную шерсть,
Строка 40: Романтику мглы непролазной!
Строка 42: Не ломом числа племенного, —

До гранок 1957 разночтение:

Строка 41: Раздавшись на обе зари
Строка 42: Не ростом числа племенного, —

Стр. 229-230. *Бальзак*. Впервые: «Звезда», 1928, кн. 4, стр. 46-47, с разночтением во 2-й строке последней строфы:

И вышвырнув в окно кофейник.

Стр. 231-232. *Отплытие*. Впервые: «Русск. Современник», стр. 7-8.

Стр. 233. *Петухи*. Впервые, там же, стр. 9.

Стр. 233-234. *Ландыши*. Впервые: «ЗИФ», 1, стр. 339-340.

Стр. 234-235. *Сирень*. Впервые: «ЗИФ», 2, стр. 378. В «Стихах 1945» разночтения:

Строка 9: И входит старуха с клюкою,
Строка 11: И ливень въезжает в покои

Стр. 236-237. *Брюсову*. Впервые, под названием «Валерию Яковлеви-чу Брюсову» и с пометой «Стихотворение, присланное с привет-ствием», в «Сборнике Брюсову», стр. 65. В сборнике стихотво-рение разделено не на четверостишия, а на четыре неравных стро-фы: 1-ая в 12 строк, 2-ая в 16 и две следующие по 4 строки. Раз-ночтения:

Строка 17: Что спавшему «гражданскому» стиху

Строка 19: И мы на перья разорвали крылья?

Стр. 238-239. *Приближение грозы*. Впервые: «Звезда», 1927, кн. 9, стр. 34, с разночтениями: строки 15-20 в журнале:

Прохлада въедет в арьергард,
Летя с передовых разведок.

Но ты освободишь обрыв
И с поля повернешь, раздумав,
Ты сгинешь, так и не открыв
Разгадки касок и костюмов.

Стр. 240-243 *Город*. Впервые: «Лирень» — см. «Первые редакции», стр. 388-390. Часть «Города», начиная со строки 6-й строфы 3-й («Это Люберцы или Любань») и кончая строфой 5-й, заканчи-вающейся строкой: «Это — наш городской гороскоп», — впер-вые: «Нов. Мир», 1928, кн. 11, стр. 20, под названием «Приписка к поэме 'Город'», с разночтением в строке 6-й пятой строфы:

Для шпаклевки прудов. Всюду рябь и туман.

В «Стихах 1933» фрагмент «Города» помещен, как стихотво-рение под назв. «На путях» (фрагмент «Нов. Мира» + еще 3 строфы от «Гролом дрозек, с аркады вокзала» и до строки «Кор-абли за собою сожгла» включительно). Разночтения:

Строфа 3, строка 11; Молодых голосов с голосами рессор

Строфа 5, строка 6: Для засевки прудов. Всюду рябь и туман.

Стр. 243-245. *Двадцать строф с предисловием*. Впервые: «Писатели — Крыму», под названием «Прощание с романтикой».

Стр. 246-247. *Уральские стихи. 1. Станция*. Впервые: «Кр. Новь», 1921, кн. 2, стр. 68-69, с разночтениями:

Строка 16: Кружев, с гребней и булавок.

После 10 строф следующие выделены в журнале в отдельное сти-хотворение под номерацией — «II», причем после заключитель-ной строки нашего текста («Клиньями столетних елей») следует еще:

Реки, — будто лес, как кит
Снизу, с лодки миной взорван,
И из туч и из раки
Дно, обуглясь, гонит ворвань.

Будто день сплавляет лес
Ночью этих салотопен.
Строй безмолвья — до небес
И шеститысячестолпен.

Стр. 247-249. 2. *Рудник*. Впервые: «Кр. Новь», 1921, кн. 2, стр. 69-71, с разночтением:

Строка 12: Особо жизненны и ярки.

Стр. 249-251. *Матрос в Москве*. Впервые: «Кр. Новь», 1921, кн. 4, стр. 120-122, с посвящением Дмитрию Петровскому и со следующими разночтениями:

Строка 15: Кружившихся, как он, без дела
Строка 23: Галерной пахли и таверной
Строка 65: В порту, на воющем заводе

В «Стругах» с пометой «Москва», без посвящения и со следующими разночтениями:

Строка 5: Был чист каток, а шест был шаток,
Строка 9: Матрос был юн, а ветер юрок.
Строка 14: Как резвый дух
Строка 23: Таверной пахли на Галерной,
Строка 25: Москва казалась родом щебня,
Строка 45: Москва во мгле играла, мерзла,
Строка 61: Ужасен ураган трансмиссий:
Строка 65: [Как в «Красной Нови»]
Строка 75: Ремнями шторма со штурвала

Стр. 252-255. 9-е *Января*. Впервые: «Альм. Кр. Новь», стр. 32-34, с разночтениями:

Строфа 7, строка 1: Так горячо не тянут в омут.
Строф 9-12 в альманахе *нет*.
Строфа 16, строка 4: И обсыхали номера.
Строфа 18, строка 2: И смолк, и «Рота» — сдал другой,
Строфа 20 в альманахе и в «Избр. 1933» *отсутствует*.

После нашей заключительной строки («И лишь спустя мгновенье: марш!») в альманахе следует:

Минутным делом было вбиться,
Но было делом двух секунд

Затискать в грунт портрет убийцы
И вырубить из почвы бунт.

Стр. 255-259. *К Октябрьской годовщине*. Впервые — без названия — «Звезда», 1927, кн. 11, стр. 5-8, с эпиграфом:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Часть 1: после 4-й строфы, заканчивающейся строкой: «Их двигало на города», в журнале следует:

Уже, точно на воду дощаник,
Война пропускала леса,
Уж далями роц в отошанье
Просвечивали корпуса.

Передний отряд перелесков
Одет был в солдатский брезент.
То был образец королевский,
Он быстро грубел, обрусев.

Но были престранные ночи... и т. д.

Часть 3, строфа 2, строка 4:

Накладывает класс на класс. («Звезда»)
Наталкивает класс на класс. («Однотомник» 1935)

Строфа 10, строка 4:

Вперенных в небывалый строй. («Однотомник 1935»)

Предпоследняя строфа, строка 4:

Спасибо тем, кем он открыт. («Звезда»)

Стр. 260-263. *Белые стихи*. Впервые: «Россия», стр. 85-88, с посвящением Дмитрию Петровскому и с разнотчением: в строфе 10 («Еще по кровлям ездил снег»):

Строка 2: Весна смеялась, смылив снегу с солнцем.

Стр. 264-272. *Высокая болезнь*. Впервые: «ЛЕФ», 1924, кн. 1(5), стр. 10-18 — см. «Первые редакции», стр. 391-401. Затем: «Нов. Мир», 1928, кн. 11, стр. 18-20, — «Две вставки в поэму «Высокая болезнь» (1-я — от строфы 5-й нашей редакции: «Хотя зарей чертополох», и до строки 3 («И крался с пятого в шестой») включи-

тельно строфы 7-й; 2-я вставка: от строки: «Чем мне закончить мой отрывок» строфы 19-й и до конца поэмы). Затем, со вставками, в книгах Пастернака, в том числе в однотомниках, с некоторыми разночтениями с журнальным текстом и с принятой в нашем собрании редакцией гранок 1957. Разночтения:

Строфа 5 («Хотя зарей чертополох»):

Строка 14: Земли похож был на родимчик,

Строфа 6 («Хотя, как прежде, потолок»):

Строка 13: Что был нудней, чем рифмы эти,

Строфа 7 («И полз голодную глистой»):

Строки 10 *нет* («В уединеньи усыпальниц»)

Строфа 8: А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Строфа 10 («Мы были музыкой во льду»):

Строка 6: Я не рожден, чтоб три разá

Последняя строфа («Он был, как выпад на рапире») в однотомниках в более пространной редакции. После строки 12 («Он был их звуковым лицом») следует:

Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.

(Этих строк нет и в редакции «Нов. Мира»; вместо них в «Нов. Мире»:

Их связывали узы братства,
Не важничая ни пред кем,)

Затем, после строки 16-й той же последней строфы («И только потому — страной»), строки 17-18 в однотомниках таковы:

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.

СПЕКТОРСКИЙ

Поэма публикуется нами по тексту «Однотомников», сверенному с первыми публикациями и книгами «Спекторский» и «Поэмы», а также с отрывками из поэмы, помещенными в гранках 1957. Впервые опубликовано: Вступление: «Нов. Мир», 1930, кн. 12, стр. 17-19; главки 1-3 — «Круг 5», стр. 5-18, и, почти одновременно, — «Ковш» 1925, стр. 128-132 (в «Ковше» — с пропуском строф 13-15 главки 1-й и строф 7-47 главки 2-й); и, в отрывках (строфы 23-49 главки 2-ой *первой* редакции, с одним незначительным разночтением), «Стык», стр. 102-106; главка 4, соответствующая нашим главкам 4 и 5-й, — в «Ковше» 1926, стр. 123-125; та же главка в другой редакции: «Кр. Новь», 1928, кн. 1, стр. 121-124; все остальные главки, до конца поэмы, — «Кр. Новь», 1928, кн. 7, стр. 154-159 (главки 6-7), 1929, кн. 12, стр. 119-124 (главки 8-9). Первая редакция поэмы, не включающая и вступления, настолько резко отличается от окончательной, что приведена нами полностью в отделе «Первые редакции», стр. 402-435. Здесь же указаны только разночтения в публикациях окончательной редакции поэмы.

Главка 3, строфа 22 («Догадки эти вовсе не кивок») опущена в «Поэмах», стр. 133, а следующая строфа там начинается:

Догадки эти в нравах слобожан,

Главка 7, строфа 10, строка 2:

С пути не смел, на месте ж — потому («Однотомник 1933»)

Строфа 13, строка 4:

Подметками по плитам без перил. («Поэмы», стр. 152)

По лестнице без видимых перил. («Однотомник 1933»)

Главка 8, строфа 13, строка 3:

Неужто жив в объятых той картины, («Поэмы», стр. 155,
«Избр. 1933», стр. 206).

В «Поэмах» в этой главке отсутствуют строфы 17-29 (от строки: «Бывают дни...» до строки: «А в том, как нас пускали нагишом» включительно).

Строфа 33, строка 1:

Там по юрам ютились перелески («Однотомник 1933»)

Главка 9, после строфы 14 («Амбар, где шла разборка гардероба») в «Поэмах», стр. 160, идет опущенная в других публикациях строфа:

Их сковывала облачная одумь,
Причину коей не к чему отнестъ.
Она разит четырнадцатым годом
И не очеловечена поднесь.

Но было что-то в свойствах околотка... и т. д.

Строфа 37, строка 3 в «Поэмах», стр. 164:

Он выгибался, точно ход развязки

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Для этого раздела в основу приняты тексты гранок 1957 и однотомников, с дополнениями по кн. «Вт. Рожд.», 1934, с проверкой всех текстов по первым публикациям, «Стихам 1945» и др. последующим изданиям. По первым публикациям восстановлены и некоторые посвящения стихов.

Стр. 319-328. *Волны*. Впервые: «Кр. Новь», 1932, кн. 1, стр. 24-27, с пропуском строфы 4 («Война не сказка об Иване») главки 5-й («Зовите это, как хотите») поэмы. Строфа эта опущена и в однотомниках, и в гранках 1957 (нами восстановлена), а следующая строфа начинается:

И в неизбежное насилие

Разночтения с принятым нами текстом гранок 1957:
Главка 1, строки 7-8 в гранках набраны:

Волна подаст свой голос в хоре
И новой очереди ждет.

Но автором эта редакция вычеркнута и восстановлена прежняя.
Главка 3-я («Мне хочется домой, в огромность»), после строфы

5-й («Опять к обеду на прогулке») следует до гранок 1957 строфа:

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Главка 4 («Здесь будет дальнего обвала») до гранок 1957 началась иной редакцией строфы 1-й:

Здесь будет облик гор в покое;
Обман безмолвья: гул во рву;
Их тишь: стесненное, крутое
Волнение первых рандеву.

Главка 9 («Здесь будет всё: пережитое. В предвиденьи и наяву»): вторая строка 1-й строфы читалась в наборе:

И сны, и вещи наяву,

но затем автором был зачеркнут этот вариант и восстановлен прежний: «В предвиденьи и наяву».

Вторая строфа этой главки до гранок 1957:

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса Аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Вся предпоследняя, 10-я, главка («Октябрь, а солнце так же жгуче») совсем иная в первой редакции, до гранок 1957. При этом, в наборе гранок, строки 2 и 8 также в другой редакции, затем зачеркнутой автором:

Строка 2: Не выпавшие снега тучи

Строка 8: Меж нашей осенью и ней.

Первоначальная редакция — до гранок — главки:

Октябрь, а солнце — что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы, —
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромных Кобулет.

И всё ж, то знак: зима при двéрях.
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем на берег
И ноги окунем в белок.

Стр. 329-330. *Баллада* («Дрожат гаражи автобазы») — впервые: «Кр. Новь», 1930, кн. 12, стр. 80.

Стр. 330-331. *Баллада* («На даче спят») — впервые: «Кр. Новь», 1930, кн. 12, стр. 81, с разночтениями:

Строка 6: Гребут, шмелем гудя, осины.

Строка 7: На даче спят под гуд осиный,
Затем, после строки 3-й второй строфы («Под ровный шум на
ровной ноте»):

Сурдин рассерженный насад.
Льет дождь и, сталкиваясь влад,
Гребут сады, трещат тесины,
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.
До нас рукой подать. Наш сад
В пяти шагах. Он в той же роте
Берез, на полном повороте
Стремглав отброшенных назад.
Клонясь впапад и невпапад,
Деревья изгибают спины.
На даче спят под стон сурдинный,
Как только в раннем детстве спят.
Я просыпаюсь. Я объят... и т. д.

Стр. 331-333. *Лето*. Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 4, стр. 63.
В «Барьерах», 1931, строфа 9-я («И осень, дотоле вопившая выпью») исключена.

Стр. 333-334. *Смерть поэта*. Впервые, с подзаголовком «Отрывок»: «Нов. Мир», 1931, кн. 1, стр. 117, с разночтением: в строфе 1-й, после строки 10-й («Совались в грех, да будь он лих»), в журнале следует:

Совались в грех. И как намедни,
Был день. Как час назад. Как миг

Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.
Лишь был на лицах... и т. д.

В публикациях до гранок 1957 за строкой 16 («Как выстрел выстроил бы их») следует еще строфа:

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и шуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.

Стр. 335. *Годами когда-нибудь в зале концертной.* Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 8, стр. 40, с эпиграфом: «Интермеццо Йог. Брамса, ор. 115», с разночтениями:

Строка 8: Художницы облик, художницы лоб.
Строка 13: Художница пачкала красками травы
Строка 18: Балкон полутемный, и кровлю, и вход,
Строка 19: Упрямую заросль и комнат питомник,
Строка 20: Балкон, подбородок и брови, и рот.

Строфа 6-я в нескольких редакциях. Журнальная:

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Соленая давность ударит из скважин,
Как пульверизатор в салоне бритья.

Во «Вт. Рожд.» и однотомниках:

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горячая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.

В наборе гранок 1957 первая строка той же 6-й строфы читалась:

И вдруг, как в открывшемся в сказке Сезаме,

Но этот вариант был вычеркнут рукою автора и внесен — рукою автора же — принятый нами в нашем собрании вариант.

Последняя (28-я) строка в журнальной редакции:

Под этот совместный немецкий мотив.

Стр. 336. *Не волнуйся, не плачь, не труди.* Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 8, стр. 40-41.

Стр. 336-337. *Окно, пюпитр.* Впервые там же, стр. 41.

Стр. 337-338. *Любить иных тяжелый крест.* Впервые там же, стр. 42.

Стр. 338. *Всё снег да снег.* Впервые там же, стр. 42. Разночтение в публикациях до гранок 1957:

Строка 18: За безрессоркою Ильи, —

Стр. 339. *Мертвецкая мгла.* Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 8, стр. 42-43.

Стр. 340. *Платки, подборы, жгучий взгляд.* Впервые там же, стр. 43, с разночтением:

Строка 18: И желоба в слюнявой пене,

Стр. 340-341. *Любимая, молвы слащавой.* Впервые там же, стр. 43-44.

Стр. 341-342. *Красавица моя, вся статья.* Впервые там же, стр. 44. Разночтения: в «Однотомнике» 1933:

Строка 19: Боязни тягость тяжкую,
В «Стихах 1945» изъята последняя строфа: «Тебе молился Поли-
клет» и т. д.

Стр. 343-344. *Кругом семящейся ватой.* Впервые: «Кр. Новь», 1931, кн. 9, стр. 13, в другой редакции. Начало стихотворения в журнале:

На улице войлока клочья,
Сопливого тополя пух,
А в комнате пахнет, как ночью,
Фиалки ночной перепуг.

За шторой прохлады усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В такой тишине и писать бы,
Разлукой питая бюджет.

Но грусть одиноких мелодий
Как город под пухом семян... и т. д.

Стр. 344. *Никого не будет в доме.* Впервые: «Кр. Новь», 1931, кн. 9, стр. 13.

Стр. 345. *Ты здесь, мы в воздухе одном.* Впервые там же, стр. 13-14. См. «Первые редакции», стр. 436.

Стр. 345-347. *Опять Шопен не ищет выгод.* Впервые там же, стр. 14, с разночтениями:

Строка 14: Гроздьями белых пирамид,
Строка 15: В шатре каштановом напротив
Строка 16: Из дома музыка гремит.
Строка 17: Гремит Шопен, и не увянув,
Строка 18: С панелей, под его эффект
Строка 38: Назад, и сдерживая прыть,

Вместо заключительной строфы окончательной редакции, в журнале:

Пронесть по веткам и соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
И девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

Всей черной крышкой вниз с площадки,
Всем этим третьим этажом —
Во двор, лопатками в нападки,
Когда мы в доме лампу жжем.

Стр. 348-349. *Вечерело. Повсюду ретиво.* Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 12, стр. 54, под назв. «Кавказские стихи», I, с разночтением в строке 30:

Ледники открывали лицо.

349-350. *Пока мы по Кавказу лазаем.* Впервые: «Нов. Мир», 1931, кн. 12, стр. 54-55, под назв. «Кавказские стихи», II. См. «Первые редакции», стр. 436-438.

Стр. 351. *О, знал бы я, что так бывает.* В «Однотомнике 1933» разночтение:

Строка 3: Что строчки с кровью — убивают,

Стр. 351-352. *Когда я устаю от пустозвонства.* Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 2, стр. 83. Разночтение в «Однотомнике 1935»:

Строка 2: Во все века вертящихся льстецов,

Стр. 352-353. *Стихи мои, бегом, бегом.* Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 2, стр. 83. Разночтение:

Строка 22: До нас похолодевших лож,

Стр. 353-356. *Еще не умолкнул упрек*. Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 2, стр. 82-83. До гранок 1957 первая строфа (в журнальной публикации также) читалась:

Упрек не успел потускнеть,
С рассвета опять потрясенье:
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

Скончался большой музыкант... и т. д.

Строфа 13-я («Воспользовавшись темнотой») в публикациях до гранок 1957 начинается строкой:

Магнето прошло темнотой.

Следующая 14-я строфа («С заставы дул ветер, и снег») до гранок 1957 начиналась строкой:

Оттуда дул ветер, и снег,

Стр. 357-358. *Весенний день тридцатого апреля*. Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 5, стр. 67.

Стр. 358-360. *Весеннею порою льда*. Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 3, стр. 44-45, с разночтениями против принятого нами текста гранок 1957. В журнале после нашей строфы 4-й («Какой в нее мне вставить вал?») следуют еще две строфы:

Струитесь, черные ручьи.
Родимые, струитесь.
Примите в заводи свои
Околицы строителей.

Их марева, как облака
Зарей неторопливой.
Как август, жаркие века
Скопили их наплывы.
В краях заката стаял лед,... и т. д.

И после нашей заключительной строчки («В революционной воле») следует в журнале еще большая строфа:

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать не осматрясь,
Ее живую завязь.

А в жизни красоты как-раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Венец творенья не потряс
Участвующих и погряз
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

Стр. 360. *Столетье с лишним — не вчера*. Впервые: «Нов. Мир», 1932, кн. 5, стр. 67, без 4-й строфы («Но лишь сейчас сказать пора»).

БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ

В этот раздел нами включены только те стихи, которые не были включены автором в раздел «Начальная пора» книги «Поверх барьеров. Стихи разных лет», 1929 и 1931. Все тексты по «Близнецу».

Стр. 368. *Хор*. Эпиграф, может быть, прочтен нами не вполне правильно, так как фотостат в этом месте чрезвычайно неясен, а «Близнеца», насколько нам известно, вне СССР нет ни в одной библиотеке.

Приложение третье

**О СТИХАХ ПАСТЕРНАКА 1912-1932 гг.
В НЕИЗДАННОМ ТОМЕ «ИЗБРАННЫХ СТИХОВ»
1957 г.**

В виду двойственного или прямо даже отрицательного отношения Пастернака к собственному раннему творчеству, состав подготовленного им в 1956 году тома избранных стихотворений заслуживает анализа. Изданию этого тома «Избранного» помешал выход романа «Доктор Живаго» за-границей. Том был уже набран и сверстан в Московской «Первой образцовой типографии им. А. А. Жданова». В наших руках находится фотокопия корректурного экземпляра этого тома с собственноручными пометками и исправлениями Б. Л. Пастернака. В заключительной части «Автобиографического очерка», который должен был быть напечатан в этом томе «Вместо предисловия», Пастернак выражал благодарность «составителю книги», Н. В. Банникову, без которого, говорил он, «она не могла бы явиться» и по почину которого написан был автобиографический очерк и «прибавлен новый стихотворный раздел». Дальше Пастернак писал: «Выше я говорил, как двойственно я отношусь к поэтическому прошлому, моему и многих. У меня не поднялись бы руки возвращать из небытия три четверти сделанного мною». Выбор стихов для «Избранного» не был, значит, проделан самим Пастернаком. Но он был им одобрен и утвержден. Сам он, вероятно, произвел бы еще более строгий отбор, но едва ли из сборника было выброшено что-нибудь, что сам поэт хотел в него включить.

Ниже мы даем, по книгам Пастернака, анализ того, что было в «Избранном» сохранено или выброшено из книг, входящих в первый том нашего Собрания. Такой же анализ для поздних стихов Пастернака читатель найдет в примечаниях к третьему тому нашего издания.

* * *

Первые разделы сборника 1957 г. должны были быть озаглавлены «Начальная пора (1912-1914 годы)» и «Поверх барьеров (1914-1916 годы)». Сюда должны были войти следующие 33 стихотворения: «Февраль. Достать чернил...», «Как бронзовой золой жаровень...», «Когда за лиры лабиринт...», «Я рос. Меня, как Ганимеда...», «Все наденут сегодня пальто...», «Сегодня с первым светом...», «Вокзал», «Венеция», «Зима», «Пир», «Встав из грохочущего ромба...», «Зим-

няя ночь», «Двор», «Петербург», «Оттепелями из магазинов...», «Зимнее небо», «Душа», «Метель», «Урал впервые», «Ледоход», «Весна», «Ивака», «Стрижи», «Счастье», «Три варианта», «Июльская гроза», «После дождя», «Импровизация», «Мельницы», «На пароходе», «Из поэмы (два отрывка)» и «Марбург». Из этих стихотворений при позднейшем пересмотре, пройдясь еще раз по всему тому с пером в руке, когда выяснилась невозможность выхода его в Москве и возник вопрос об издании за-границей, Пастернак зачеркнул следующие: «Когда за лиры лабиринт...», «Я рос. Меня, как Ганимеда...», «Все наденут сегодня пальто...», «Сегодня с первым светом встанут...» и «Встав из грохочущего ромба...» и сопроводил большим знаком вопроса стихотворение «Двор».

К книгам «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», которые многие поклонники поэта считают его наивысшими достижениями, он отнесся, пожалуй, еще более строго. Из «Сестры» не были включены в сборник, готовившийся в 1957 г., следующие 19 стихотворений: «Тоска», «Дождь», «Ты так играла эту роль...», «Балашов», «Подражатели», «Образец», «Не трогать», «Весенний дождь», «Свистки милиционеров», «Уроки английского», «Определение души», «Болезни земли», «Наша гроза», «Мухи Мучкапской чайной», «Дик прием был, дик приход...», «Как усыпительна жизнь!», «Имелось», «Любить — итти, — не смолкнул гром...», и «Наяву ли всё?..» Позже поэтом под сомнения были поставлены еще следующие четыре стихотворения: «Плачущий сад» («Несовершенно», написал он на полях по-французски), «Зеркало» («Кишит недостатками», гласила здесь французская надпись), «Девочка» и «Степь» («Намерения были добрые, но как далеко исполнение от свершения»).

Из «Тем и вариаций» не включены были в книгу 23 стихотворения: «Вдохновение», «Встреча», «Может статься так...», «Голос души», «Январь 1919 года», «Клеветникам», «Я их мог позабыть? Про родню...», «Косых картин, летящих ливмя...», «Нескучный», «Воздух седенькими складками...», «Как не в своем рассудке...», «Ну, и надо ж было, тужась...», «Между прочим, все вы, чтицы...», «Пара форточных петелек...», «Крупный разговор. Еще не запирали...», «Пианисту понятно...», «Я вишу на пере у Творца...», «Пей и пиши...», «Любимая, безотлагательно...», «На днях, в тот миг...», «Потели стекла...», «Но им суждено было...» и «Весна была просто тобой...» Таким образом разбиты были многие циклы, объединявшие первоначально в книге многие стихотворения. Из крупных циклов нетронутыми остались «Разрыв» и «Тема с вариациями». При позднейшем пересмотре Пастернак наметил к исключению еще девять стихотворений: «Больной следит. Шесть дней подряд...», «С полу, звездами облитого...», «Кремль в буран 1918 года», «Да будет», «Я не знаю, что тошней...», «Воздух дождиком частым сечется...», «Чирикали птицы и были искренни...», «Всё утро с десяти до двух...» и «Поэзия».

В разделе «Стихи разных лет», имевшемся в сборнике 1957 года (сюда вошли более поздние стихи из книги «Поверх барьеров» 1931 г., в нашем Собрании попавшие в разделы «Смешанные стихотворения» и «Эпические мотивы»), сохранено было 17 стихотворений: «Город», «Матрос в Москве», «Отплытие», «Петухи», «Ландыши», «Сирень», «Любка», «Рослый стрелок, осторожный охотник...», «Приближенье грозы», «Пространство», «Бальзак», «9 января», «Брюсову», «Анне Ахматовой», «М. Ц.», «Мейерхольдам», «Безвременно умершему». Пересматривая сборник для намечавшегося заграничного издания, Пастернак зачеркнул еще следующие: «Матрос в Москве», «Бальзак» (с вопросительным знаком), «Брюсову», «Ахматовой», «М. Ц.», «Мейерхольдам».

«Второго рождения» гильотина составителя и автора коснулась совсем мало. Не попало в сборник только одно стихотворение («Окно, плюитр и, как овраги, эхом...»). Два других («Когда я устаю от пустозвонства...» и «Столетье с лишним — не вчера...») были зачеркнуты позднее в корректурном экземпляре.

Из поэм Пастернака в московский том «Избранного» должны были войти полностью, но в заново отделанных редакциях, «1905 год» и «Лейтенант Шмидт» и в отрывках «Спекторский».

СОДЕРЖАНИЕ

| | Страницы | | Примечания |
|---|----------|----------|------------|
| | Текст | 1-я ред. | |
| От редакторов | V | | |
| ПРЕДИСЛОВИЕ Ж. де Пруаяр . . . | IX | | |
| БОРИС ПАСТЕРНАК И МОДЕРНИЗМ — Вступительная статья В. Вейдле . | XXV | | |
| СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ | | | |
| Памяти Демона | 3 | | |
| <i>Не время ль птицам петь</i> | | | |
| Про эти стихи | 4 | | 444 |
| Тоска | 5 | | |
| Сестра моя жизнь | 5 | | 444 |
| Плачущий сад | 6 | | |
| Зеркало | 7 | | 445 |
| Девочка | 8 | | 445 |
| Светает | 8 | | 445 |
| Дождь | 9 | | |
| <i>Книга степи</i> | | | |
| До всего этого была зима | 11 | | 445 |
| Из суеверья | 12 | | |
| Не трогать | 13 | | 445 |
| Ты так играла эту роль | 13 | | |
| Балашов | 14 | | |
| Подражатели | 15 | | |
| Образец | 15 | | |
| <i>Развлеченья любимой</i> | | | |
| Душистой веткою машучи | 17 | | 445 |
| Сложь весла | 17 | 375 | 446 |
| Весенний дождь | 18 | | |
| Свистки милиционеров | 18 | 375 | 446 |
| Звезды летом | 20 | | |
| Уроки английского | 21 | | |

| | Текст | Страницы 1-я ред. | Приме- чания |
|---|-------|----------------------|-----------------|
| <i>Занятье философией</i> | | | |
| Определение поэзии | 22 | | |
| Определение души | 23 | | |
| Болезни земли | 23 | | |
| Определение творчества | 24 | | |
| Наша гроза | 25 | | |
| Заместительница | 26 | | 446 |
| <i>Песни в письмах, чтобы не скучала</i> | | | |
| Воробьевы Горы | 27 | | 446 |
| Размолвка | 28 | | 446 |
| Распад | 29 | | 447 |
| <i>Романовка</i> | | | |
| Степь | 31 | | 447 |
| Душная ночь | 32 | | 447 |
| Еще более душный рассвет | 33 | | |
| <i>Попытка душу разлучить</i> | | | |
| Мучкап | 35 | | |
| Мухи мучкапской чайной | 36 | | |
| Дик прием был, дик приход | 37 | | |
| Попытка душу разлучить | 38 | | |
| <i>Возвращение</i> | | | |
| Как усыпительна жизнь | 39 | | 448 |
| У себя дома | 42 | | 448 |
| <i>Елене</i> | | | |
| Елене | 44 | | 448 |
| Как у них | 45 | | |
| Лето | 46 | | |
| Гроза, моментальная навек | 47 | | |
| <i>Послесловье</i> | | | |
| Любимая — жуть! Когда любит поэт | 48 | | |
| Давай ронять слова | 49 | | 448 |
| Имелось | 50 | | 448 |
| Любить, — итти, — не смолкнул гром | 51 | | |
| Послесловье | 52 | | 448 |
| Конец | 53 | | |
| ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ | | | |
| <i>Пять повестей</i> | | | |
| Вдохновение | 57 | | |
| Встреча | 58 | | |
| Маргарита | 59 | | 448 |
| Мефистофель | 60 | | 449 |
| Шекспир | 61 | | 449 |

Тема с вариациями

| | | |
|--|----|-----|
| Тема | 63 | 449 |
| В а р и а ц и и : | | |
| 1. Оригинальная | 64 | 449 |
| 2. Подражательная | 65 | 449 |
| 3. Мчались звезды | 67 | 449 |
| 4. Облако. Звезды. И сбоку | 67 | 449 |
| 5. Цыганских красок достигал | 68 | 449 |
| 6. В степи охладевал закат | 69 | 450 |

Болезнь

| | | |
|--|----|-----|
| 1. Больной следит. Шесть дней подряд | 70 | |
| 2. С полу, звездами облитого | 70 | |
| 3. Может статься, так | 71 | 450 |
| 4. Голос души | 72 | 450 |
| 5. Фуфайка больного | 73 | |
| 6. Кремль в буран конца 1918 года | 74 | 450 |
| 7. Январь 1919 года | 75 | |
| 8. Мне в сумерки ты всё — пансионеркою | 76 | 450 |

Разрыв

| | | |
|---|----|-----|
| 1. О, ангел залгавшийся | 78 | 450 |
| 2. О, стыд, ты в тягость мне | 78 | |
| 3. От тебя все мысли отвлеку | 79 | |
| 4. Помешай мне, попробуй | 79 | |
| 5. Заплети этот ливень | 80 | |
| 6. Разочаровалась? Ты думала — в мире нам | 80 | |
| 7. Мой друг, мой нежный | 81 | |
| 8. Мой стол не столь широк | 81 | |
| 9. Рояль дрожащий пену с губ оближет | 82 | 450 |

Я их мог позабыть

| | | |
|--|----|-----|
| 1. Клеветникам | 83 | |
| 2. Я их мог позабыть | 84 | |
| 3. Так начинают. Года в два | 85 | 450 |
| 4. Нас мало. Нас может быть трое | 86 | |
| 5. Косых картин, летящих ливня | 86 | |

Нескучный сад

| | | |
|--|----|-----|
| 1. Нескучный | 87 | |
| 2. Достатком, а там и пирами | 87 | |
| 3. Орешник | 88 | |
| 4. В лесу | 89 | 451 |
| 5. Спасское | 90 | 451 |
| 6. Да будет | 91 | |
| 7. Зимнее утро (Пять стихотворений): | | |
| Воздух седеькими складками падает | 91 | 451 |
| Как не в своем рассудке | 92 | 451 |
| Я не знаю, что тошней | 93 | 451 |
| Ну, и надо ж было, тужась | 94 | 451 |
| Между прочим, все вы, чтицы | 94 | 451 |

| | Страницы | | Примечания |
|--|----------|----------|------------|
| | Текст | 1-я ред. | |
| 8. Весна (Пять стихотворений): | | | |
| Весна, я с улицы | 95 | | |
| Пара форточных петелек | 95 | | 451 |
| Воздух дождиком частым сечется | 96 | | 452 |
| Закрой глаза. В наиглушайшем органе | 96 | | |
| Чирикали птицы и были искренни | 97 | | 452 |
| 9. Сон в летнюю ночь (Пять стихотворений): | | | |
| Крупный разговор. Еще не запирали | 98 | | |
| Всё утро с десяти до двух | 98 | | 452 |
| Пианисту понятно шнырянье ветошниц | 99 | | |
| Я вишу на пере у Творца | 99 | | |
| Пей и пиши, непрерывным патрулем | 100 | | |
| 10. Поэзия | 101 | | |
| 11. Два письма: | | | |
| Любимая, безотлагательно | 101 | | |
| На днях, в тот миг | 102 | | |
| 12. Перед зимою (Пять стихотворений): | | | |
| С тех дней стал над недрами парка | 103 | | 452 |
| Потели стекла двери на балкон | 103 | | 452 |
| Но и им суждено было выцвести | 104 | | 452 |
| Весна была просто тобой | 105 | | 452 |
| Здесь прошелся загадки таинственный ноготь | 106 | | |

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| В нашу прозу с ее безобразьем | 109 | | 453 |
| Отцы | 110 | | 453 |
| Детство | 114 | | 454 |
| Мужики и фабричные | 119 | | 454 |
| Морской мятеж | 122 | | 454 |
| Студенты | 127 | | 455 |
| Москва в декабре | 130 | | 456 |

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

456-468

| | | | |
|------------------------|-----|--|--|
| Часть первая | 139 | | |
| Часть вторая | 151 | | |
| Часть третья | 162 | | |

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

1. Начальная пора: 1912-1914

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Февраль. Достать чернил и плакать | 177 | | 469 |
| Как бронзовой золой жаровень | 177 | 377 | 469 |
| Сегодня мы исполним грусть его | 178 | 377 | 469 |
| Когда за лиры лабиринт | 178 | 378 | 469 |
| Сон | 179 | 378 | 469 |
| Я рос. Меня, как Ганимеда | 180 | | 469 |
| Все наденут сегодня пальто | 180 | | 470 |

| | Страницы | | Примечания |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|
| | Текст | 1-я ред. | |
| Сегодня с первым светом встанут . . . | 181 | 379 | 470 |
| Вокзал | 181 | 380 | 470 |
| Венеция | 182 | 381 | 470 |
| Зима | 183 | 382 | 470 |
| Пирьы | 184 | 383 | 471 |
| Встав из грохочущего ромба | 184 | 384 | 471 |
| Зимняя ночь | 185 | 385 | 471 |

II. Поверх барьеров: 1914-1916

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Двор | 186 | | |
| Дурной сон | 187 | | |
| Предчувствие | 189 | | 471 |
| Возможность | 189 | | 471 |
| Десятилетие Пресни | 190 | | |
| Петербург: | | | |
| Как в пулю сажают вторую пулю | 192 | | 471 |
| Волны толкутся | 193 | | |
| Чертежный рейсфедер | 194 | | |
| Тучи, как волосы, встали дыбом | 195 | | |
| Оттепелями из магазинов | 195 | | 471 |
| Зимнее небо | 196 | | 471 |
| Душа | 197 | | |
| Не как люди, не еженедельно | 197 | | |
| Раскованный голос | 197 | | |
| Метель: | | | |
| 1. В посаде, куда ни одна нога | 198 | | 471 |
| 2. Все в крестиках двери | 199 | | |
| Урал впервые | 200 | | 472 |
| Ледоход | 200 | 385 | 472 |
| Я понял жизни цель | 201 | | |
| Весна: | | | |
| Что почек, что клейких заплывших огарков | 202 | | |
| Весна! Не отлучайтесь | 202 | | 472 |
| Разве только грязь видна вам | 203 | | |
| Ивака | 204 | | |
| Стрижи | 204 | | |
| Счастье | 205 | | |
| Эхо | 206 | | |
| Три варианта: | | | |
| 1. Когда до тончайшей мелочи | 206 | | 472 |
| 2. Сады тошнит от верст затишья | 207 | | |
| 3. На кустах растут разрывы | 207 | | |
| Июльская гроза | 207 | | |
| После дождя | 209 | | 473 |
| Импровизация | 209 | | 473 |
| Баллада | 210 | | 473 |
| Мельницы | 214 | | 473 |
| На пароходе | 216 | | |
| Из поэмы (Два отрывка): | | | |
| 1. Я тоже любил, и дыханье | 218 | | 473 |
| 2. Я спал. В ту ночь мой дух дежурил | 219 | | 473 |
| Марбург | 220 | 386 | 473 |

| | Страницы | | |
|---|------------|------------|----------------|
| | Текст | 1-я ред. | Примечания |
| <i>III. Смешанные стихотворения</i> | | | |
| Другу | 223 | | 475 |
| Анне Ахматовой | 223 | | 475 |
| М. Ц. | 225 | | 475 |
| Мейерхольдам | 226 | | 476 |
| Пространство | 227 | | 476 |
| Бальзак | 229 | | 476 |
| Бабочка-буря | 230 | | |
| Отплытие | 231 | | 476 |
| Рослый стрелок, осторожный охотник | 232 | | |
| Петухи | 233 | | 476 |
| Ландыши | 233 | | 476 |
| Сирень | 234 | | 476 |
| Любка | 235 | | |
| Брюсову | 236 | | 477 |
| Памяти Рейснер | 237 | | |
| Приближение грозы | 238 | | 477 |
| <i>IV. Эпические мотивы</i> | | | |
| Город | 240 | 388 | 477 |
| Двадцать строф с предисловием (Зачаток Спекторского) | 243 | | 477 |
| Уральские стихи: | | | |
| 1. Станция | 246 | | 477 |
| 2. Рудник | 247 | | 478 |
| Матрос в Москве | 249 | | 478 |
| 9-е января (Первоначальный вариант) | 252 | | 478 |
| К Октябрьской годовщине: | | | |
| 1. Редчал разговор оживленный | 255 | | 479 |
| 2. Под спудом пыльных садов | 256 | | |
| 3. Густая слякоть клейковиной | 257 | | 479 |
| <i>V. Белые стихи</i> | <i>260</i> | | <i>479</i> |
| <i>VI. Высокая болезнь</i> | <i>264</i> | <i>391</i> | <i>479</i> |
| СПЕКТОРСКИЙ | | | 481—482 |
| Вступленье | 275 | | |
| 1. Весь день я спал | 278 | | 402 |
| 2. Трещал мороз | 281 | | 404 |
| 3. «Для бодрости ты б малость под- хлестнул» | 287 | | 412 |
| 4. Стояло утро | 289 | | 414 |
| 5. Едва вагона выгнутая дверь | 293 | | 416 |
| 6. Неделю проскучал он | 297 | | 420 |
| 7. Конец пришел нечаянней | 303 | | 426 |
| 8. Прошли года | 305 | | 428 |
| 9. В дни голода | 310 | | 433 |

| | Страницы | |
|---|----------|---------------------|
| | Текст | 1-я ред. Примечания |
| ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ | | |
| <i>I. Волны</i> | 319 | 482 |
| <i>II.</i> | | |
| Баллада (Дрожат гаражи автобазы) | 329 | 484 |
| Баллада (На даче спят) | 330 | 484 |
| Лето | 331 | 484 |
| Смерть поэта | 333 | 484 |
| <i>III.</i> | | |
| Годами когда-нибудь в зале концертной | 335 | 485 |
| Не волнуйся, не плачь, не труди | 336 | 486 |
| Окно, пюпитр | 336 | 486 |
| Любить иных тяжелый крест | 337 | 486 |
| Всё снег да снег | 338 | 486 |
| Мертвецкая мгла | 339 | 486 |
| Платки, подборы, жгучий взгляд | 340 | 486 |
| Любимая, молвы слащавой | 340 | 486 |
| Красавица моя, вся стать | 341 | 486 |
| <i>IV.</i> | | |
| Кругом семенящейся ватой | 343 | 486 |
| Никого не будет в доме | 344 | 486 |
| Ты здесь, мы в воздухе одном | 345 | 436 486 |
| Опять Шопен не ищет выгод | 345 | 487 |
| <i>V.</i> | | |
| Вечерело. Повсюду ретиво | 348 | 487 |
| Пока мы по Кавказу лазаем | 349 | 436 487 |
| <i>VI.</i> | | |
| О, знал бы я, что так бывает | 351 | 487 |
| Когда я устаю от пустозвонства | 351 | 487 |
| Стихи мои, бегом, бегом | 352 | 487 |
| Еще не умолкнул упрек | 353 | 488 |
| <i>VII.</i> | | |
| Весенний день тридцатого апреля | 357 | 488 |
| Весеннею порою льда | 358 | 488 |
| Столетье с лишним — не вчера | 360 | 489 |
| БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ | | |
| <i>Стихи, не включенные автором в книгу «Поверх барьеров»</i> | | |
| Лесное | 363 | |
| Грусть моя | 364 | |
| Близнецы | 364 | |
| Близнец на корме | 365 | |

| | Страницы | | Примечания |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| | Текст | 1-я ред. | |
| Лирический простор | 366 | | |
| Ночью | 367 | | |
| За обрывками редкого сада | 367 | | |
| Хор | 368 | | 489 |
| Ночное панно | 369 | | |
| Сердца и спутники | 370 | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ:

*Первые редакции
и наиболее значительные варианты*

| | |
|--|-----|
| Сложна весла | 375 |
| Уличная | 375 |
| Как бронзовой золой жаровень | 377 |
| Сегодня мы исполним грусть его | 377 |
| Эдем | 378 |
| Мне снилась осень | 378 |
| А. Л. Ш. (Вчера, как бога статуэтка) | 379 |
| Вокзал | 380 |
| Венеция | 381 |
| Зима | 382 |
| Пиршества | 383 |
| Встав из грохочущего ромба | 384 |
| Не подняться дню в усилиях светилен | 385 |
| Ледоход | 385 |
| Марбург | 386 |
| Город | 388 |
| Высокая болезнь | 391 |
| Спекторский | 402 |
| Ты здесь, мы в воздухе одном | 436 |
| Пока мы по Кавказу лазаем | 436 |

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ:

| | |
|--|-----|
| <i>Разночтения, опущенные в окончательных редакциях строфы, примечания</i> | 441 |
|--|-----|

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ:

| | |
|---|-----|
| <i>О стихах Пастернака 1912-1932 гг. в неизданном томе избранных стихов 1957 года</i> | 493 |
|---|-----|

